



**Александр ВОРОНИН
Андрей ДМИТРИЕВ
Ирина КОРОТЕЕВА
Рустем САБИРОВ
Марина ПОЛУНИНА
Елена КРЮКОВА
Сергей НИКУЛИН
Илгиз АХМЕТОВ
Нугзар БАШЕЛЕЙШВИЛИ
Наталья ЕРШОВА**

**ПРЕМИЯ
«ДИАС»**

СБОРНИК ПРОЗЫ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ "ДИАС-2019"

ПРЕМИЯ ДИАС: Сборник прозы лауреатов премии «ДИАС-2019» / Сост. Галина Булатова. – Казань, 2020. – 106 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| Предисловие | 3 |
| Александр ВОРОНИН. Драма диасизма | 6 |
| Андрей ДМИТРИЕВ. Брат | 20 |
| Ирина КОРОТЕЕВА. Два Петра | 31 |
| Рустем САБИРОВ. Посёлок. Озеро. Дом | 37 |
| Марина ПОЛУНИНА. Море в октябре | 46 |
| Елена КРЮКОВА. Я тебя никогда не забуду | 53 |
| Сергей НИКУЛИН. Ивашка | 65 |
| Илгиз АХМЕТОВ. Долгая дорога домой | 72 |
| Нугзар БАШЕЛЕЙШВИЛИ. Пёс соломенного цвета | 87 |
| Наталья ЕРШОВА. Сплошное расстройство | 95 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея учредить премию «ДИАС» родилась в год 80-летия со дня рождения известного писателя, философа, основателя теории мегачеловека и общепланетарной религии Диаса Валеева (1 июля 1938 – 31 октября 2010). К моей радости, её поддержала семья и близкие Диаса Назиховича. И уже на следующий год был объявлен приём заявок на соискание премии. В процессе разработки Положения было решено объявлять лауреатов в четырёх символических номинациях: «Дело», «Имя», «Абсолют», «Судьба» (аббревиатура ДИАС). В качестве призов для лауреатов были выбраны шары из натурального камня, ведь шар – философский символ будущего, безграничности, объединения. К тому же и сам Диас Валеев окончил геологический факультет Казанского университета.

«Стань творцом! И знай: творчество разнообразно. Это не только писание книг, картин, но делание любой вещи. И в творчестве вещей, идей и образов ты всегда мегачеловек. Ты увеличиваешь богатства мира, материальные и духовные, ты – сродни творящей силе природы» – эти слова писателя стали девизом конкурса.

В составе жюри первого сезона премии были:

Нури Бурнаш, писатель, литературовед, журналист, преподаватель русского языка, член Союза российских писателей, основатель и руководитель литературно-философского общества «Altera Pars» (с 1993 по 2000 год), победитель республиканского поэтического слэма (2015);

Майя Валеева, дочь писателя, член Союза писателей СССР, член Союза писателей Республики Татарстан, лауреат литературной премии Республики Татарстан им. Г.Р. Державина;

Дмитрий Туманов, поэт, прозаик, журналист, преподаватель, доцент кафедры национальных и глобальных медиа Высшей школы журналистики КФУ, кандидат филологических наук, автор ряда научных бестселлеров, член Союза журналистов Республики Татарстан;

Эдуард Учаров, поэт, прозаик, эссеист, член Союза российских писателей, победитель турнира поэтов Литературной универсиады в Казани (2013), культуртрегер, руководитель литературного кафе «Калитка».

Заявки на соискание премии поступили от 117 авторов из России, Белоруссии, Украины, ЛНР, Литвы, Казахстана, Грузии, Китая, Турции, Израиля, США. Лауреатами премии в четырёх номинациях стали 10 авторов, чьи конкурсные произведения публикуются в этом сборнике.

Галина Булатова

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ДИАС-2019»

Номинация «Дело»:



Александр ВОРОНИН
(Россия, Республика Татарстан, г. Казань). Драма диасизма

Номинация «Имя»:



Андрей ДМИТРИЕВ
(Россия, г. Нижний Новгород). Брат



Ирина КОРОТЕЕВА
(Россия, г. Ростов-на-Дону). Два Петра

Номинация «Абсолют»:



Рустем САБИРОВ
(Россия, Республика Татарстан, г. Казань). Посёлок. Озеро. Дом



Марина ПОЛУНИНА
(Россия, Московская обл., г. Балашиха). Море в октябре



Елена КРЮКОВА

(Россия, г. Нижний Новгород). Я тебя никогда не забуду

Номинация «Судьба»:



Сергей НИКУЛИН

(Россия, г. Иркутск). Ивашка



Илгиз АХМЕТОВ

(Россия, Республика Башкортостан). Долгая дорога домой.



Нугзар БАШЕЛЕЙШВИЛИ

(Грузия, г. Тбилиси). Пёс соломенного цвета



Наталья ЕРШОВА

(Россия, г. Москва). Сплошное расстройство

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН, Россия, Республика Татарстан, г. Казань

(Лауреат в номинации «Дело»)

Александр Геннадьевич Воронин. Драматург, прозаик. Родился 29 декабря 1958 г. в Куйбышеве (ныне Самара). Учился в Казанском театральном училище, играл в спектаклях театра юного зрителя. Выпускник Литературного института имени А.М. Горького (1986), заместитель главного редактора литературного журнала «Аргатак. Татарстан», председатель Казанской городской организации Татарстанского отделения Союза российских писателей, лауреат международной литературной премии «Детское время». Автор книг «Драма диасизма», «Монарх-монах», «Невидимки», «Ясновидящая», «Кинг книг».

ДРАМА ДИАСИЗМА

Избранное из книги

Диас Валеев сыграл в моей жизни значительную, определяющую роль. Признаюсь прямо, тогда я увлекался драматургией Александра Вампилова, а потому относился к пьесам Диаса Валеева довольно скептически. Слишком непохожими были они – иркутский и казанский драматурги, имена которых вдруг зазвучали в замкнутом театральном пространстве тех лет.

Тогда, в 1980-м, я уже пописывал в стол и мечтал о Москве, поэтому нашёл повод (долго собирался) познакомиться с Диасом Валеевым лично. Через несколько дней, на репетиции в театре, Диас Назихович обратился ко мне с просьбой: на телевидение нужны двое молодых актёров – для участия в передаче о «Литературной мастерской» при газете «Комсомолец Татарики». Кто же из актёров откажется от возможности подзаработать? Я позвал с собой соседа по квартире Александра Фриновского – самого популярного тогда актёра тюза.

При следующей нашей с Валеевым встрече на Казанской студии телевидения я признался, что пробую писать пьесы. Нельзя ли и мне ходить к нему в «Литмастерскую»? Диас Назихович ответил:

– Конечно, приходите! Правда, у нас пока ни одного драматурга нет, только прозаики и поэты. Но это даже хорошо, будете первым.

В сентябре я принёс в «Литмастерскую» Диаса Валеева свою ещё недописанную пьесу «Чайка в «Чайке». Валеев в пух и прах раскритиковал мой опус, к которому я так и не смог до сих пор вернуться, чтобы дописать финал. Но сохранил черновую тетрадь с критическими пометками Диаса Валеева на полях...

Как ни странно, неудача меня только окрылила. Следующая моя пьеса Валееву понравилась больше, однако, по его мнению, одноактовку «Папа»

следовало развить в полноформатную пьесу. С учётом новых замечаний и предложений Диаса Валеева я дописал новый, фантастический финал – так с третьей попытки из-под моего пера (и с валеевской лёгкой руки) вышла драматическая фантазия «Четыре вечера и одно утро». Валеев пригласил меня к себе домой, где за чаем состоялся знаменательный разговор. Диас Назихович посоветовал мне поступать в Литературный институт, на творческий семинар драматургии, который вёл Виктор Сергеевич Розов.

– Что вам делать в тюзезе? Всю жизнь зайчиком скакать? – говорил он. – Пять лет учёбы в Москве, непосредственное общение с классиком – всё это сделает вас драматургом.

..Все пять лет, пока учился в Москве, я продолжал поддерживать связи с друзьями по «Литмастерской» и её руководителем. Диас Валеев пришёл и на премьеру «Четырёх вечеров» в Казанском тюзезе (5 марта 1987 года), тепло отозвался о спектакле. А в заключение напутствовал:

– Начало хорошее, поздравляю. Но теперь всё решит вторая вещь. Настоящий писатель складывается после сорока лет. Чтобы набраться впечатлений и жизненного материала, полезно поработать журналистом – эта профессия позволит много ездить, общаться с разными людьми, быть в гуще событий.

Один раз я уже поменял свою жизнь по совету Диаса Валеева. Решил и в этот раз прислушаться – через год ушёл из театра в журналистику. И не пожалел (до сих пор не жалею). За что опять же благодарен Учителю.

Свою первую пьесу Диас Валеев написал на спор за две недели. Был в гостях у режиссёра Семена Ярмолинца и его жены – актрисы Марины Кобчиковой. Как всегда, ругал современный театр. А потом попался на простое «слабо». Дескать, ругать легко, ты сам возьми да напиши. Ну и напишу!

Получилась пьеса «Сквозь поражение», которая первоначально носила название «Мысли первые и вторые, или Вверх по лестнице», потом стала называться «Перед последней чертой», а позже была поставлена на татарском языке – «Үзенэ хыянэт итсэн» («Если предашь самого себя»). Случилось это в 1969 году. Герою нашему перевалило за тридцать – и в жизни его в тот год произошло много важных событий.

Первым читателем пьесы, как и всех его произведений, стала жена Дина Каримовна, которая мужа горячо поддержала. Ярмолинец с Кобчиковой первый драматургический опыт друга тоже одобрили, хотя критиковали в частностях. Новую редакцию автор дал Аязу Гилязову – известному писателю, прозаику и драматургу, пьесы которого уже шли в Татарском академическом театре имени Г. Камала. Тот похвалил Валеева на словах, что для начинающего драматурга уже подарок, и поддержал на деле: отнёс пьесу молодого автора главному режиссёру камаловцев. Обещал сделать литературный перевод на татарский язык, если пьесу примут в репертуар. Марсель Салимжанов прочитал «Сквозь поражение» и подтвердил, что будет её ставить. Для Диаса Валеева это

было началом нового, драматургического этапа в жизни и творчестве, тем более, что предыдущий – прозаический – закончился весьма драматично.

К тому времени Валеев уже пятнадцать лет сочинял. Опубликовал ряд рассказов не только в местных газетах, но и в столичных журналах «Молодая гвардия», «Смена», «Сельская молодёжь». Публикаций хватало, однако они оставляли внутреннее ощущение случайности, эпизодичности, отдельности. Бесконечные отказы из казанских и московских издательств составили целый том «документального романа», переплетённого позднее на память. Хотелось настоящей известности. Пока же его как писателя знали лишь несколько таких же, как он, молодых сочинителей, собиравшихся в литобъединении при ДOME печати.

Как вспоминает о том времени один из литобъединенцев, доктор философских наук Булат Галеев:

«На стыке 50-60 годов бурлило, гудело в Казани молодёжное литературное объединение при Союзе писателей республики и редакции газеты «Комсомолец Татарии». По молодости лет ходил туда и я. Там встретился с Диасом Валеевым. Интересные, радостные были времена: недавно прошёл XX съезд, и нам всего по 20... Ждали каждого четверга трепетно, как праздника. Читали, спорили, критиковали друг друга, не щадя живота – своего и чужого. Приходили иногда художники, музыканты – К. Васильев, А. Аникиенок, Л. Блинов. Многие из тех, кто засиживался тогда допоздна на верхней лестничной площадке Дома печати, прокуренной и полутёмной, теперь, – «классики». По крайней мере, известны у нас в республике, а то и в стране: Рустем Кутуй, Роман Солнцев (тогда ещё Ренат Суфеев), Мария Аввакумова. Помнится – среди наших «яблоко на ладони», «солнца на рельсах» и прочих поэтических кружев Диас Валеев выбивался, раздражал своим прямо-таки неистовым косноязычием. Мы называли его рассказы «чёрными», уж больно безрадостно было в них всё, не ко времени (а за окнами – «Синий троллейбус» Окуджавы, «Политехнический» Вознесенского!). Всё у него было слишком серьёзно – никаких вам метафор. Ссылался Диас Валеев на неведомых нам Замятина, Пильняка. Это тоже раздражало – он знает, а мы нет... Так уж получилось, распалось наше литобъединение как раз под редкую каплю леденеющей оттепели. А может, просто разбросало всех нас после студенческих лет. Выпускник геологического факультета КГУ Диас Валеев уехал в Сибирь. Бог знает, чем он там занимался, но, вернувшись, стал работать в «Комсомольце Татарии». С литературой, судя по всему, дела шли туго, бродили слухи – перепало ему изрядно, авансом, даже без публикаций. Продолжал раздражать, вероятно, кого-то повыше нас...»

Вместо признания Диас Валеев получил приглашение явиться на «Чёрное озеро». Так в царские времена назывался знаменитый в Казани парк недалеко от Кремля, известный цирком-шапито и зимним городским катком. Неподалёку располагалось здание жандармского отделения. В советские годы там

разместилось ВЧК, позднее переименованное в НКВД. С тех пор «Чёрное озеро» обрело для казанцев тот же страшный смысл, какой в Москве получила старая добрая Лубянка.

В Комитет государственной безопасности, что по-прежнему располагался на улице Дзержинского, у парка Чёрное озеро, Диаса Валеева пригласили по телефону, без повестки. Просто позвонили в редакцию, назначили время. И беседовали два полных дня. Это называлось профилактическими беседами.

Допрос начался с анализа рассказа «Груша». О том, как мальчик любил девочку... Гэбисты допытывались, почему героиня живёт в старом доме, а не в новенькой пятиэтажке (Дания Каримовна выросла в доме №23/15 по улице Фатыха Карима, где я бывал однажды в гостях и действительно видел в саду совсем уже старую грушу). Следователи, их было трое, четвёртый вёл стенограмму беседы, намекали на сознательное очернение советской действительности. Вывод шили неутешительный: товарищ Валеев – диссидент, антисоветчик. Таких у нас учат уму-разуму в психушках, говорили ему. А можно и в тюрьму посадить, повод найти легко. Однако ограничились лишь взятой с автора объяснительной запиской.

Позднее в документальном театральном романе «Чужой, или В очереди на Голгофу» он подробно опишет те допросы, на которых его пытались раздавить, а он старался не подавать вида, что испугался, хотя пот порой тёк по спине ручьями.

Герой нашего повествования имел основания опасаться. И если не за свою жизнь, то за свою писательскую судьбу. В первый же вечер Диас Валеев собрал все свои рукописи, всё написанное за пятнадцать лет, оставив лишь наброски, не представлявшие для КГБ особого интереса. Мешок отнёс в дровяной сарай, что стоял во дворе дома его матери на улице Нариманова. А геологический рюкзак на рассвете отвёз на дачу в Карьере (за Компрессорным заводом) и спрятал в подполе.

...Что же стало с валеевскими рукописями? Оказалось, они очень даже хорошо горят. В апреле 1969 года Валеев едет в Москву на V Всесоюзное совещание молодых писателей, а в это время сарай во дворе материнского дома по улице Нариманова сам собой загорелся в одну из весенних ночей. Диас Назихович уверен, что его подожгли нарочно, хотя один из следователей Виктор Степанович Морозов, выйдя на пенсию, несколько раз в 90-х годах божился Валееву, что к пожару на улице Нариманова их ведомство не имело никакого отношения.

Весной 69-го случилось небывалое половодье, подпол на даче залило, рюкзак свалился с табурета в воду. Написанное пером (чернилами, а не теперешней шариковой ручкой) размылось в сплошную нечитаемую синеву...

Это был страшный удар, оправиться от которого было трудно. Ещё тяжелее было сознавать, что на «дальнейшей литературной работе», как и на ещё не написанных произведениях можно ставить жирный крест.

Диас Валеев решил начать всё сначала.

Во все времена успех в театре означал славу. Наутро после премьеры автор часто просыпался знаменитым. Михаил Булгаков, когда его прозу перестали печатать, переписал роман «Белая гвардия» в пьесу «Дни Турбиных» (на нейтральном заголовке настояла цензура). Премьера во МХАТе сразу принесла ему неслыханную славу. Нет ничего удивительного, что и Диас Валеев решил пойти по тому же заманчивому, но такому неверному, непредсказуемому пути.

...Окрылённый автор написал и принёс в театр вторую пьесу – трагедию «Охота к умножению». Новую пьесу Диаса Валеева взялся переводить другой татарский классик – Гариф Ахунов. Ко времени премьерной афиши название пьесы трансформировалось в «Суд совести».

Так счастливо сложилось, что в сентябре 1970 года Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой приехал в Казань на гастроли. Однажды по окончании очередного спектакля Диас Валеев с супругой (кстати, искусствоведом) зашёл за кулисы, чтобы поздравить известного актёра и уже набравшего силу режиссёра Андреева с успехом у местных зрителей. А от себя прибавил, дескать, пьесы-то можно было бы выбирать и лучше. Владимир Алексеевич огрызнулся, мол, сами знаем, что современная драматургия – не фонтан... Но местный нахал не унимался, знать-де надо, где искать. Вот я сам пишу пьесы. И намного лучше того, что вы сейчас играли. Хотите почитать? Завтра принесу.

Столичная знаменитость нахала не прогнала, более того, пьесу его прочла. Через полмесяца после окончания гастролей ермоловцев в редакции «Комсомольца Татарии» раздался междугородний телефонный звонок... Так Валеев познакомился с режиссёром, который принесёт ему в дальнейшем всесоюзную известность.

Диас Валеев родился в деревне Казанбаш («казан» в переводе с татарского – котёл, «баш» – голова, башка, что в сочетании тоже можно трактовать как «котловина, яма») Арского района Татарской АССР 1 июля 1938 года. Так по метрикам, а по рассказам матери, герой нашего повествования появился на свет то ли в тряском тарантасе на просёлочной дороге, что ведёт из деревни в Арск (райцентр в сорока километрах от Казани), то ли во дворе Арской районной больницы. Спрашивается, зачем родителям, жившим тогда в Казани, понадобилось срочно ехать в Казанбаш? Позднее в путаницу с местом своего рождения Диас Валеев внесёт интригу – публично заявит, будто родился, возможно, в Испании, в которой тогда коммунисты воевали с франкистами. В СССР переправляли пароходами испанских детей, порой совсем младенцев (см. документальные кадры в фильме Андрея Тарковского «Зеркало»). Уж не ради ли легализации младенца понадобилась легенда о рождении в тарантасе на безлюдном тракте? В Казанбашском сельсовете зарегистрировать приёмыша было проще, чем в Казани, где тогда проживали

родители. И называли они Диаса испанским именем. Впрочем, в этом биографическом компоте даже следователи с «Чёрного озера» толком не разобрались, так что нам, театральным историкам, остается его лишь выпить.

Свои журналистские годы в «Комсомольце Татарии» Диас Валеев вспоминает всегда тепло, подчёркивая особо, что в те подцензурные застойные годы пишущим давали больше творческой свободы, чем мы имеем теперь. Лично он всегда писал лишь о том, о чём сам хотел. Поскольку мне довелось работать в той газете, когда она изменила название на «Молодёжь Татарстана», могу свидетельствовать – это всегда была самая живая и неуживчивая редакция...

Пора нам подступить к первому упоминанию о диасизме – религиозном учении, которое, быть может, ещё не сложилось тогда в определённую, текстуально оформленную теорию, но уже существовало в сознании его пророка. Именно в том 1969 году, с которого мы начали своё повествование, случилось «второе откровение новой сверхрелигии», которое пережил Диас Валеев, стоя на пепелище сарая во дворе дома по улице Нариманова, где жила его мать. Первое произошло семью годами раньше, 16 ноября 1962 года, в Горной Шории, в посёлке Одрабаш, где молодой специалист-геолог работал по распределению после окончания Казанского университета. Что это было? Снисхождение небесной благодати, в один миг раскрывшей перед двадцатичетырёхлетним искателем истины всё то, к чему он шёл в долгих размышлениях о себе, о жизни, о человеческой истории? Во всяком случае, тот день, точнее полдень, тот краткий миг озарения прочно врезался в сознание нашего героя как один из самых важных, высших моментов его жизни! В «Сокровенном от Диаса» Валеев опишет это глубочайшее духовное переживание коротко: «наитье, в котором в один миг явились основные черты будущего учения».

Основной идеей диасизма сам пророк признаёт обращение к человеку: стать мега- или богочеловеком, прийти от не-бога (дьявола) и Бога (единобожие Христа, Будды, Мухаммада и нынешних адептов мировых религий) к Сверхбогу – и супер-религии, объединившей бы всех верующих Земли в одном религиозном служении.

«В состоянии микро-я человек служит своим инстинктам, мелким физиологическим целям, когда его связи с Космосом обесточены, он не может отвечать за мир. Он ответствен только за какую-то его микроскопическую часть. В состоянии макро-я человек служит нации, классу, социальному слою, объединению, его национальный, классовый или групповой эгоизм тоже может быть самоубийствен. Он ответствен лишь за определенный макромир. Спасение – в выходе на мегауровень. Мессия, Спаситель порождается человеком из себя самого, из бого-я» («Сокровенное от Диаса», §8).

Наиболее отчётливо идеи диасизма получили воплощение в трагифарсе «Пророк и чёрт», который в первых публикациях назывался «Пророком из казанского Заречья». Не случайно, наверное, в первом упоминании об этой комедии «Литературная газета» (21.03.1973) допустила красноречивую опisku: «пророка» заменила на «прораба». В самом деле, от драматурга, дебютировавшего на московской сцене с пьесой о строителях КамАЗа, все тогда, конечно, ждали продолжения производственной тематики...

Сценическая судьба этой пьесы оказалась не особо счастливой. В Москве её собирался ставить Лев Дуров, однако к репетициям в театре на Малой Бронной так и не приступил. На читке в театре имени Г. Камала труппа приняла «Пророка» восторженно, но «чёрт» не допустил её выхода на сцену. Впрочем, самому автору лет через пять после написания комедия эта принесла неожиданный сюрприз. Однажды супруга писателя, Дина Каримовна, пришла домой из магазина и сразу с порога заявила:

– Собирайся! Иди со своим героем знакомиться.

Оказалось, возле одного из домов в новостройках казанского Заречья, где Валеевы получили квартиру, появился чудак, который сажал деревья вокруг дома просто так, от любви к прекрасному. Диас Валеев действительно пошёл туда, познакомился с этим человеком. А потом описал его в одном из очерков для «Литературной газеты», включил его в число примеров для подтверждения существования мега-человека в окружающей действительности, когда писал свои религиозно-философские трактаты – «Истина одного человека, или Путь к Сверхбогу», «Третий человек, или Небожитель», «Уверенность в Невидимом».

Главный режиссёр Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Владимир Андреев, прочитав первые три пьесы никому тогда неизвестного казанского драматурга Диаса Валеева, готов был, кажется, ставить, каждую из них – сначала «Сквозь поражение», затем «Охоту к умножению». Однако из политических соображений остановил свой выбор на пьесе «Продолжение», которая на афише ермоловцев получила название «Дарю тебе жизнь».

Успех спектакля «Дарю тебе жизнь» в ермоловском театре открыл дорогу пьесе для новых постановок. Десятки театров по всей стране кинулись её ставить. О Диасе Валееве начали упоминать в центральной прессе, появились первые рецензии, в целом благожелательные. К нему пришла всесоюзная известность.

Сразу изменилась и жизнь самого драматурга. Первые же денежные переводы из ВААПа показали, что на отчисления с кассовых сборов можно содержать семью. Появилась возможность оставить службу в газете и целиком посвятить себя литературному труду.

Он пережил огонь и воду (сгоревший сарай и подтопление на даче, уничтожившие все его ранние рукописи), пережил и «медные трубы». Его

включали в состав многих писательских конференций, выездных совещаний, где довелось общаться с многими знаменитыми писателями из разных союзных республик. Его приглашали на писательские съезды и семинары, ему давали слово на заседаниях. Одним словом, внешне это была наивысшая точка в писательской судьбе Диаса Валеева.

Конечно, не всё тогда гладко складывалось. Поменялось к нему отношение в Казани. Ещё совсем недавно он здесь был «начинающим драматургом» – и вдруг центральная пресса чуть ли не каждый месяц упоминает его имя в «поминальниках» среди одарённых молодых писателей, талантливых представителей новой драматургии союзных и автономных республик, более того, в списках самых часто ставящихся на советской сцене авторов. Разумеется, не всем это в Татарстане могло нравиться. Тем более, сам Диас Валеев вёл себя не самым дипломатичным образом. Он торопил местные театры с новыми постановками, не понимая, почему его имя в премьерные афиши ставить каждый сезон никто не торопится. «Сквозь поражение» в камаловском театре сначала долго переводили на татарский язык, затем режиссёр долго подбирал актёров. Наконец, с первого раза постановку не приняли, потребовав целого ряда переделок...

«Ищу человека» – это не только крылатая фраза древнегреческого философа и название последней пьесы трилогии, но клич писателя Валеева. Драма писалась одновременно с главной книгой Диаса Валеева, которая тогда называлась «Третий человек, или Небожитель», а впоследствии стала двухтомником «Уверенность в Невидимом». Поэтому в пьесе не могла не появиться эта главная тема.

Когда автор читал эту пьесу труппе качаловского театра, ряд актёров сделали замечание: слишком выдуманном в пьесе получился Иван Иванович Иванов. «Ищу человека» в театре имени В.И. Качалова так и не поставили. И больше с той поры сам драматург ни в какие местные театры пьес своих не предлагал.

...В годы работы актёром Казанского театра юного зрителя мне довелось участвовать в работе над спектаклем «1887». Всё, что я знал тогда о Диасе Валееве, признаюсь с сожалением, не предполагало моего благожелательного отношения к этой хорошо одетой и изящно постриженной знаменитости. Пьеса на заведомо скучную тему ещё до начала читки не интересовала ни меня, ни моих друзей актёров, которым уже было известно распределение ролей.

Однако в ходе репетиций моё предубеждение относительно автора и его сочинения постепенно менялось. Мне, начинающему артисту, дали эпизодическую роль. Две сцены, одна реплика... Окончательно изменила моё отношение к «1887» крайне резкая реакция на тюзовскую постановку со стороны художественного совета Министерства культуры Татарской АССР. Обычно просили что-то в спектакле переделать, кое-что убрать. Цеплялись за отдельные реплики, в крайнем случае, заставляли подкорректировать ту или

иную сцену. А тут запретили спектакль целиком, потребовав кардинальных переделок!

Для автора трагедии «1887» проблемы со спектаклем в Казанском тюзэ оказались далеко не единственными. Эта пьеса принесла ему ещё много сюрпризов. И самый тягостный из них был связан с театром, который Диас Валеев искренне считал своим.

Главный режиссёр Московского театра имени М.Н. Ермоловой Владимир Андреев хоть и взял эту пьесу к постановке, но ставить сам её не собирался, он передал пьесу молодому режиссёру Михаилу Скандарову. Тот же с произведением татарского драматурга обошёлся чересчур вольно: текстовые длинноты, жаркие революционные споры он вымарал по собственному разумению, не согласовывая сокращения с автором. Драматург посчитал единственной приемлемой для себя формой протеста против произвола ермоловцев не явиться на премьеру.

Молодой татарский режиссёр Рустем Фатыхов, закончивший в ГИТИСе курс Анатолия Васильева, по возвращении в Казань решил поставить двухсерийный телевизионный фильм по пьесе Диаса Валеева «1887». Фатыхов сумел убедить телевизионное начальство в возможности создать телефильм малыми средствами – не то чтобы малобюджетный, а практически беззатратный! Всё снималось в реальных интерьерах университета, изомузея, тюзэ (старинных фойе бывшего здания Купеческого собрания).

За год до этого фильма закончилась тягостная эпопея Валеева со спектаклем «День Икс» в Казанском Большом драматическом театре имени В.И. Качалова. История данной постановки, занявшая в театральной жизни Казани целых три года скандалов, толков и суждений, подробно описана и дважды издана самим Валеевым. И теперь любой может взять его роман-документ «Чужой, или В очереди на Голгофу», чтобы прочесть обо всём в авторской версии.

23 ноября 1984 года на качаловской сцене состоялась премьера спектакля «День Икс» в постановке главного режиссёра театра Натана Басина. Приёмочная комиссия Минкультуры ТАССР спектакль не приняла, но и премьеры не отменила. В протоколе заседания значится 21 замечание. После этого комиссии различного состава собирались по поводу спектакля ещё десять раз, требуя всё новых и новых переделок. Спектакль, поставленный к 40-летию Победы и 80-летию со дня рождения Героя Советского Союза Мусы Джалиля, тем не менее, продолжал идти, показывался на гастролях в Челябинске и Тюмени. 15 февраля 1986 года – в день юбилея поэта «День Икс» был сыгран качаловцами последний раз...

И всё же Диас Валеев продолжал бороться именно за спектакль в Казани. Почему? Всё дело в том, что в Татарском академическом театре имени Г. Камала шла пьеса Туфана Миннуллина «У совести вариантов нет» в постановке

Марселя Салимжанова – о подвиге того же Мусы Джалиля. Разумеется, речь не идёт о плагиате или заимствованиях. Вот только в письме заместителю начальника Управления театров Министерства культуры РСФСР Игорю Скачкову Диас Валеев по поводу не понравившегося рецензенту ИМЛ заглавия «Божество у всех одно – свобода!» в заключение возьми да обмолвись: «Свобода – один из главных лозунгов революции. Я думаю, здесь не может быть никаких двусмысленных толкований. Но есть и другой вариант названия: «У судьбы вариантов нет». Правда, его я хотел приберечь для другой пьесы. О Джалиле» (23.04.1980).

И ещё одно совпадение: в пьесе Туфана Миннуллина «У совести вариантов нет» тоже есть образ поэта-современника, который ведёт своё следствие. Что же получается? В одном городе в одно и то же время два известных драматурга пишут две пьесы об одном и том же герое, при этом используют одинаковые сюжетные приемы и схожие названия – при этом пьесы абсолютно оригинальные, собственноручно обоими написанные. Невольно в голову приходит мысль о «творческом соревновании». Или нетворческой закулисной подоплеке?

Внешне они были похожи. Диас Валеев на заседаниях «Литмастерской» нам рассказывал, как к нему порой обращались на улицах «Туфан абый». Оба были красивы и бесспорно талантливы. Первые годы они даже дружили семьями, ходили друг к другу в гости.

Однако к концу семидесятых их дороги расходятся. Диас Валеев приводит даже примерную дату – в последних числах сентября 1977 года: «Тогда он заявил мне, что моё творчество не нужно и не будет нужно ни татарскому народу, «ни русским, ни евреям», как он позволил себе выразиться, что поскольку я «не татарин» – не пишу по-татарски, то я, по его мнению, не имею даже права называться татарским драматургом и т.д. В тот вечер «от имени татарского народа» этим человеком (причём всё это происходило у него дома, за его столом, в присутствии наших жён) было сказано довольно много подобных «обвинительных» слов в мой адрес. Пожалуй, я бы отнёсся к этому разговору, несмотря на всю его абсурдность, как к частному, даже случайному, если бы не ошеломивший меня вывод, брошенный Т. Миннуллиным в завершение этого разговора: «С нашей шайкой» (это буквальное выражение), в которую, по его же словам, входят главный режиссёр Академического театра М. Салимжанов, ещё кто-то, «тебе придётся считаться». Короче говоря, татарский народ, от имени которого я подвергался остракизму, свёлся до «шайки» из нескольких человек, как видно, довольно известных и уважаемых в нашей республике, и мне одним из её представителей прямо, нагло и с чувством полной безнаказанности был предъявлен ультиматум, сулящий перспективы далеко не благоприятные».

Почему-то не хочется думать, что режиссёр Марсель Салимжанов, треть века посвятивший славе татарского театра, а также его друг и соратник Туфан

Миннуллин могли столько времени и сил тратить на травлю Диаса Валеева. Пусть даже за то, что он не пишет на родном языке...

Не видел принципиальных разногласий в личной ссоре Диаса Валеева с Туфаном Миннуллиным и председателем правления Союза писателей ТАССР в те годы, всеми уважаемый Гариф Ахунов: «Диас Валеев пишет на русском языке. Это ещё одна интересная особенность нашего времени. В национальных республиках создание литературных произведений на русском языке во второй половине двадцатого столетия стало нормой и утвердилось как одно из ответвлений национальных литератур. В Киргизии – Чингиз Айтматов, в Азербайджане – наш соплеменник Ибрагимбеков, в татарской литературе – Рустем Кутуй и Марсель Зарипов, в молдавской – Ион Друцэ, все они пишут на русском языке. Среди татарских писателей, пишущих на русском, – и Диас Валеев... Поле его наблюдений – вся страна. Но при всём при этом Диас Валеев именно татарский драматург. Последнее обстоятельство я особо подчёркиваю».

...Долгие годы борьбы закалили. О Диасе Валееве всегда в Казани говорили, что он скандалист, говорит, что думает, пишет письма, куда вздумается. Но не был он ни склочником, ни сутяжником. И конфликт, если разобраться, возник не конкретно с Туфаном Миннуллиным, ни с местной властью в частности или с режимом в целом. Валеев по природе своей всегда себя ощущал в противопоставлении с внешним миром, средой, бытом. Он был не столько «против», сколько «поперёк», «вовне». Можно сказать, что драматург не вписывался в своё время, но можно сформулировать и так, что он в нём попросту не умещался.

...Ещё в предперестроечные годы, когда режим пытался андроповскими репрессиями и черненковскими «заморозками» сохранить всё как было, Диас Валеев окончательно сложился в восприятии современников как видный общественный деятель. Он помогал несправедно осуждённым, обращавшимся в письмах к известному писателю за помощью. Благодаря ходатайствам в высшие инстанции, статьям в местных газетах и центральных журналах были освобождены из-под стражи несколько невинно пострадавших людей. Такая правозащитная деятельность имела резонанс: бывали случаи, когда задержанных в милиции прекращали избивать, стоило тем закричать, что они обратятся за защитой к писателю Валееву.

Особенно громко, на всю страну прозвучала история защиты Диасом Валеевым бедного возчика с Колхозного рынка, который соорудил на пустыре свинарник и откармливал скот базарными отходами, а деньги от реализации мяса перечислял в казанский Дом ребёнка, ивановскую школу-интернат или в Фонд мира. Вместо благодарности «новому Деточкину» пытались шить уголовные дела по факту спекуляции, незаконному предпринимательству или, на худой конец, использованию казённой лошади в личных целях. В московском журнале «Смена» в течение ряда лет вышло шесть больших статей Диаса Валеева о казанском бессребренике Асхате Галимзянове, который сам с

семьей живёт в трущобах, в бедности, но все заработанные в свободное время средства отдаёт детям. Он стал героем валеевского трактата «Третий человек, или Небожитель», как пример мега-человека, который живёт не сиюминутной выгодой, не классово-клановыми интересами, но высшими ценностями, как он их понимает.

Усилия Валеева не прошли бесследно: Горсовет, а позже и Совет министров республики приняли по Галимзянову отдельные решения, возчика-мецената оставили в покое. А в дальнейшем даже дали ему двухкомнатную квартиру, представили к ордену... Помнится, Диас Назихович водил меня в те годы знакомиться с этим чудиком, эдаким Дон Кихотом базарных задворков, привыкшего прикрываться маской юродивого, чтобы я написал о нём очерк. Но у меня так ничего и не вышло. Не моя тема. Да и не разглядел я в Асхате Галимзянове, как ни старался, того человека будущего, которого увидел в нём Диас Валеев.

...Окружающий мир всегда относился к Валееву странно. Восемь спектаклей по его пьесам были насильственно приостановлены или запрещены. Четыре раза неизвестные угрожали ему убийством, дважды предпринимались попытки упрятать его в психбольницу. При этом в глазах общества он предстал эдаким везунчиком, несправедливо обласканным судьбой. Сам он считает, что мегасоставляющая его духа настолько выламывалась из обычного ряда, что обывательская среда имела основания для его неприятия.

Из «Литмастерской» Диаса Валеева вышел добрый десяток членов Союза писателей, в том числе и автор сих правдивых строк, однако многие из бывших его учеников теперь считают, что своим становлением обязаны исключительно себе самим. Нашлись среди них и такие «мастера», кто в малом либо покрупному предал своего наставника. Тем не менее, многим именно Диас Валеев помог с изданием первых книг или с выходом первых публикаций. Как говорится, Бог им судья.

Не от одного меня, но и от многих современников, словно облако каких-то предубеждений застилало истинный облик Диаса Валеева. Для татар он оставался чужаком, который пишет на языке колонизаторов. Русские тоже не признавали его своим – фамилия-то татарская. Ещё сложнее было отношение к его проповедям. Ещё бы, казанский пророк предлагает человечеству новое прочтение версии Бога? Что же, он ставит себя в один ряд с Заратустрой, Иисусом, Мухаммедом? Да по нему психушка плачет!..

Даже уйдя в некое добровольное затворничество, почти не показываясь никому, Диас Валеев продолжал вызывать непонимание.

И вот в конце девяностых Диас Валеев опубликовал роман «Я». Он писал его тридцать пять лет. Во всяком случае, первые наброски автор датирует 1962 годом. Так долго Валеев пытался сложить в единое целое разрозненные куски своих философских набросков, биографических записей и культурологических

заметок. Пока, наконец, не нашёл сюжетного приёма, который позволял соединить в целостный художественный замысел чуть ли не всё написанное и передуманное за всю сознательную жизнь.

Действительно, Диас Валеев поместил в роман «Я» все излюбленные сюжеты, начиная от первого опубликованного рассказа «Вокруг земного шара». Эпизод, основанный на реальной житейской истории (очевидно, самого автора), стал и сюжетной завязкой первой его драмы «Сквозь поражение». Его он использует снова в своём первом (и последнем – всю жизнь писавшемся) романе «Я», чтобы познакомить своего героя-двойника Булата Бахметьева с Ниной Араповой.

Тема двойничества возникает в романе, как и в «Карликовом буйволе», только на более высоком и глубоком уровне... Диас Валеев строит свой роман о Бахметьеве, где самого себя выводит под своим именем в качестве одного из главных героев. Они учились на одном геологическом факультете Казанского университета, ходили в одно литобъединение при музее Горького, попали в одну поисково-съёмочную партию в Горной Шории.

А потом с Бахметьевым стали происходить страшные вещи. В реальной жизни они могли произойти и с Валеевым, попавшим в те годы на крючок КГБ. К счастью, в жизни автор избежал сумы и тюрьмы, зато пустил по кругам ада своего Бахметьева, который тридцать лет провёл в следственных изоляторах, тюрьмах, лагерях. «...Бахметьев мой двойник. Его Я было словно моим Я. Но имелось между нами и отличие. Если я в раздумье останавливался перед водным потоком, он тут же бросался в него. Если я был на свободе, он пребывал в тюрьме. Если я останавливался в растерянности перед образом Либертуса, в частности из прямого страха смерти, он, не задумываясь, осуществлял этот замысел. Если я выдвигал идею нового Сверхбога, он, не задерживаясь на этом, шёл уже проповедовать его».

Перед своим исчезновением в 1964 году Бахметьев передал Валееву на хранение рукописи. Разбирая черновики пропавшего друга, автор сам стал писать о нём роман-расследование, роман-воспоминание. Но разрозненные черновики никак не складывались в целое. Три линии сюжета никак не могли слиться воедино. Во-первых, это задуманная Бахметьевым-Валеевым сага о Либертусе и Люцифере – двух вечных антиподах, персонажах, сотворённых иерофантом Тотом, первым поэтом на Земле.

Во-вторых, Бахметьев задумал роман о своём отце, сгинувшем в фашистских застенках. Сын встречается с оставшимися в живых свидетелями, которые знали отца по подполью или могли быть повинны в его гибели. Тут роман Диаса Валеева переходит в драматическую форму, имитирующую магнитофонные записи бесед Бахметьева с предателями отца.

Третьей линией романа стала история любви Бахметьева. В онкологическом диспансере под стенами казанского Кремля (там ранее была тюрьма, куда в 1887-м привезли после ареста Володю Ульянова, а в 1937-м уже отца Бахметьева) теперь умирает от саркомы его жена Гюльназ. Она не хочет ждать страшной мучительной смерти, поэтому просит Булата принести ей

несколько упаковок различных снотворных препаратов... Но странное дело: пока я продирался сквозь хорошо известные мотивы творчества Диаса Валеева, свирепея от бесконечных повторов и скучая на многоречивой эссеистике, я не заметил, как судьба Бахметьева меня действительно увлекла и поманила за собой, как и самого автора. Взрыв озарения и катарсис сопереживания герою случился в четвёртой части романа, когда Бахметьев через тридцать лет вернулся в Казань и посетил Диаса Валеева. Он уже знал, что обречён, чувствовал, что за ним охотятся агенты древнейшей тайной организации, которой не понравился роман о Либертусе – воплощении мечты по бесконечной свободе человеческого духа. И всё же Бахметьев идёт прощаться с Ниной Араповой, которая все эти годы ждала его в Лядском саду, как они договаривались во время своего давнего путешествия «Вокруг земного шара». Идёт, чтобы сказать ей столько лет ожидаемое «я люблю». И погибает...

Над заголовком «Я» знакомые за глаза подсмеивались, дескать, Диас Валеев в своём репертуаре – от скромности не умрёт. Но я, дочитав роман, вдруг открыл для себя совсем другого Валеева! Двадцать лет каждый год я перечитывал «Мастера и Маргариту» – настолько был увлечён посмертным булгаковским романом... А теперь готов был сравнивать с ним «Я» – по глубине и масштабности замысла. Что и сделал, помнится, на страницах «Республики Татарстан». Тут и надо мной знакомые стали подсмеиваться...

Драма диасической драматургии как составной части творчества Валеева, на мой взгляд, состоит в том, что в другой стране, в ином столетии новое поколение читателей её для себя ещё не открыло. Да и неизвестно, откроет ли когда-нибудь. Возможно, она так и останется лишь страницей советской литературы, отечественной драматургии.

«По метрическому свидетельству я татарин, родной язык у меня русский, первая моя книга вышла на украинском языке, а сам я, возможно, испанец, – так начинается его завещание «Последнее слово». – Впрочем, я ни в чём не уверен до конца... Четыре народа тем не менее – татарский, русский, украинский и испанский – вправе считать меня своим писателем. Если захотят или если в том возникнет необходимость, продиктованная внутренним развитием этих наций и нуждой в дополнительной духовной опоре. Сам я себя считаю татарским художником...».

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ, Россия, г. Нижний Новгород

(Лауреат в номинации «Имя»)

Родился в 1976 году. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Обозреватель областной газеты «Земля нижегородская». Член Союза журналистов РФ. Публиковал стихи и прозу в сетевых изданиях «Этажи», «45-я Параллель» и «Литература», в журналах «Нева», «Дружба народов», «Крещатик», «Новая Юность», «Prosōdia», «Бельские просторы», «Нижний Новгород», «Гвидеон», «Луч» и других. Автор сборников стихов «Рай для бездомных собак», «Орнитология воды», «Африкаснег» и «Глубина тиснения», участник коллективного сборника «Настоящие» из серии «Нижегородское собрание сочинений».

БРАТ

1

Никто из докторов не знал, есть ли у Фёдора Клячкина на самом деле родной брат, о котором он так неожиданно вспомнил. Даже в достоверности его собственного имени и фамилии никто бы поручиться не смог. В интернат Фёдор несколько лет назад поступил с улицы – без документов, с практически полной потерей памяти и набором острых хронических заболеваний. На вид ему было тогда лет семьдесят, и раз сам пациент затруднялся назвать возраст, решили для ровного счёта в анкетах так и написать – 70 лет. Фёдором Клячкиным бедолага назвался ещё в милиции. Это была, пожалуй, единственная ценная информация о себе, которой тот был способен поделиться. В затхлом коллекторе канализации, откуда Фёдора извлекли во время очередного рейда, не было никого, кто мог бы хоть что-то сказать о своём соседе. Честно говоря, подобный контингент мало интересуется органы правопорядка, если, конечно, за ними не числится каких-нибудь злодеяний. Скорей всего, Клячкина не стали бы даже оформлять – тот не имел ни документов, ни места жительства, ни работы, поэтому в бюрократическом смысле его как бы и не существовало. Дали бы пинка под зад и снабдили бы напутствиями на будущее – вот и всё. Но в тот день звёзды выстроились иначе. «Ментам» сверху пришла разнарядка. В области в преддверии выборов готовился масштабный социальный проект – открытие интерната для немощных и психически нездоровых людей, где предусматривались койко-места и для лиц без определённого места жительства. Милиции поручили предоставить первых счастливых кандидатов...

Родственников Клячкина пытались найти ещё в отделении – задействовали участковых, всевозможные базы данных и поисковые системы, но тщетно. Потом махнули рукой и посчитали, что с другой стороны столь слезливая биография абсолютно потерянного для всех человека лишь пойдёт на пользу их

подопечному при поступлении в интернат – так он станет совсем вне конкуренции, взяв за живое и соцработников, и врачей.

Попав на государственное обеспечение, Фёдор долго молчал и лишь целыми днями смотрел в окно, за которым не было ничего примечательного, кроме новенького высокого забора и аккуратно посаженных тополей. Тополя были ещё небольшими – с малым количеством ветвей, но в общем строю они уже походили на молодых солдат, стоящих на плацу по стойке «смирно» в окружении неприступных стен цитадели. Почему-то в России зачастую любое учреждение с добровольно-принудительным содержанием граждан – даже сугубо медицинского назначения – зачастую выглядит, как казарма, а то и как тюрьма. Возможно потому, что казарменно-тюремная реальность в народном сознании за столетия обрела свою мифологию, своё место в системе ценностей, где смерть и лишения, бесправие и хождение строем по кругу – символы веры в ничтожность маленького человека перед абсолютом строгого единообразия. А значит, даже в больнице каждый должен чувствовать главенство геометрии над хаосом, слишком уж спонтанно порождающим внутренний мир.

2

Однажды, когда молодой врач-психиатр Роман Удальцов обходил палаты, он вновь попробовал мягко и осторожно расположить Фёдора Клячкина к доверительному разговору. Несмотря на то, что всякий раз до этого в ответ звучало лишь невнятное бормотание под нос, начинающий доктор всё же не отказался от попыток установить контакт с пациентом.

– Здравствуйте, Фёдор! Что новенького сегодня успело произойти с вами и о чём вы так напряжённо размышляли, когда я вошёл? – врач тихо сел на край кушетки и всем своим видом изобразил крайнюю заинтересованность.

– Окно. Окно. Забор. Тополя. Невысокие, молодые тополя. Небо. Какое оно всё-таки большое – даже в этом тесном квадрате окна. Павел. Павел. Я помню Павла. Я вижу его во сне, – речь Фёдора была похожа на какое-то заклинание.

– Кто такой Павел? Вы могли бы мне рассказать? – Роман сбавил тон голоса, чтобы просьба не выглядела требованием.

– Павел – это мой брат. Это – мой младший брат. У нас с ним значительная разница в возрасте. Я помню его маленьким. Такой маленький свёрток. Когда мама была беременна, меня отправили жить к бабушке, чтобы я не мешал, чтобы я не видел, какой у мамы стал большой живот и как ей тяжело. Мне сказали, что в магазине мне купят братишку, но мне нужно подождать. Когда я вернулся домой – я увидел детскую кроватку, но в ней никого не было, только какой-то свёрток белой материи. Я спросил: где мой братик? Мне сказали: приглядишься получше – он здесь, в кроватке. Я присмотрелся и увидел розовое личико.

– Это был ваш брат?

– Да, я почувствовал, что это был он. Братишка крепко спал, завёрнутый в тугие пелёнки. Но я вдруг ощутил его тепло, я вдруг понял, что он есть, что он существует. Потом он стал расти. Он рос – не как соседские дети – быстро и безудержно – а как домашнее растение, находящееся под каждодневным заботливым уходом тех, кто, склонившись над ним с маленькой, почти игрушечной лейкой, радуется каждому новому побегу. Я помню, когда он начал говорить. Он стоял, взявшись за спинку своей детской кровати, и что-то лепетал. Потом я пошёл в школу. Я учился писать и считать, а Паша учился ходить. Потом, освоив грамоту, я в свою очередь начал учить его. Играл в учителя. Мне было лет десять или чуть больше, а его только что определили в детсад, и, когда я давал ему очередное задание по русскому языку, Паша смотрел на меня, как на взрослого. А мне нравилось чувствовать себя взрослым, чувствовать, что я уже что-то могу, что кто-то внимает мне, верит мне, ценит меня...

Тут Фёдор замолчал и уставился в окно, будто увидел там кадры далёкого детства, добавляющие достоверности его рассказу. Однако тусклые зрачки остановились, и стало понятно, что объект его внимания находится не во внешнем мире, а где-то глубоко внутри.

Врач не стал настаивать на продолжении разговора. Людей с нарушением психики не стоит утомлять чрезмерным общением, если сами они того не хотят. Роман сегодня и так сделал большой шаг в сторону налаживания контакта со странным пациентом. Он молча вышел из палаты и продолжил обход своего отделения.

3

На следующий день Удальцов навестил Фёдора снова. Тот что-то усердно писал в тетради.

– Чем это вы тут заняты, уж не книгу ли пишете? – с иронией в голосе поинтересовался доктор.

– Нет, я брату письмо пишу, правда, я не знаю, где он живёт, – ответил Фёдор, не меняя ни наклона головы, ни выражения лица.

Роман уже знал из анкеты Клячкина: никаких сведений о наличии у него родственников найти не удалось. Что ж, если Павел – всего лишь плод нездоровой фантазии, это стало бы для молодого психиатра хорошей практикой в распознавании разного рода помешательств.

Доктор не стал мешать Фёдору, но зашёл к нему вновь часа через полтора, уж очень интриговал шанс сделать новые открытия. Текст с посвящением или обращением, как правило, носит исповедальный характер – особенно в случае, когда человек смотрит на мир через единственное окно, а потому никак не в силах преодолеть растущую между собой и миром пропасть.

– Фёдор, вы закончили письмо брату? – мягко спросил врач, снова войдя в палату.

– Да, – ответил тот, глазами показав на сложенный вдвое листок, что лежал на краю тумбочки.

– Вам следовало бы написать адрес, чтобы мы помогли отправить письмо по назначению.

– Я не знаю адреса. Не знаю. Не знаю адреса. Нет. Нет, – Фёдор как обычно уставился в окно, но за стеклом – только шелестел в аллеях ветер и обрывал золотые погоны с молодых тополей, проигравших битву осени, однако сохранивших силы, чтобы однажды продолжить священную войну – не на смерть, а на жизнь.

– Вот что – не расскажете ли поподробнее о своём брате, и тогда, возможно, вспомните, где его теперь искать?

Фёдор медленно повернулся в сторону доктора, и Роману показалось, что его глаза на долю секунды успели сохранить отражение серого неба, прежде чем зрачки вернули им связь с землёй. В лице пациента слабо пульсировали какие-то глубинные эмоции, потаённые мысли наплывали на него столь визуально, что становилось как-то неловко быть невольным свидетелем этого. Однако нарушенное Фёдором молчание дало сцене новый вектор, освободив доктора от чувства некоторого замешательства.

– В старших классах я хотел быть учителем, но вихрастая юность вырвала из рук учебники и толкнула навстречу уличным приключениям, в которых так сладостно было ощущать пьянящий вкус свободы – казалось, что именно эта привилегия и делает тебя по-настоящему взрослым, – голос Фёдора звучал, будто следуя за внутренним метрономом. – Ночные бдения, шумные пиры и бедовые девушки, готовые на всё – вытиснули из сознания наивные детские представления о близком и далёком будущем. Завалив учёбу, я кое-как окончил школу, а потому поступить в институт шансов уже не было никаких. Вскоре пришла повестка из военкомата, и меня забрали в армию. Младший брат Павел вырос и постигал мир уже без меня. Он оказался весьма смышлёным, и то, что я так бездумно пустил по ветру, ему удалось реализовать в полной мере.

4

Когда я после сверхсрочной службы всё-таки демобилизовался, Паша уже поступал в медицинский – он решил осваивать перспективное направление – нейрохиргию. Я был искренне рад его успехам, видя в них и свою скромную заслугу. Брат сильно возмужал, окреп, приобрёл внешность современного, свободно мыслящего юноши, и мне хотелось общаться с ним как никогда, мне хотелось вновь обрести в нём того друга из детства, которым, как мне казалось, мог быть только по-настоящему родной и близкий человек. Но вокруг него успел сформироваться собственный круг общения – молодые, острые на язык эстеты, будущие врачи, а также интеллектуалы из продвинутой молодёжи. Я со своей провинциальной простоватостью уже, похоже, не вписывался в него. Более того, к своему ужасу, я понял, что мой брат стесняется меня перед друзьями, делая это с плохо скрываемым смущением.

Мы начали стремительно отдаляться друг от друга, пока общение наше не сократилось до обмена дежурными фразами при встрече. Но я продолжал следить за его малыми и большими победами. Он с отличием окончил вуз, устроился на работу в престижную клинику, где стал ассистировать какому-то знаменитому хирургу. Потом Павел женился и обзавёлся квартирой. Я же с трудом устроился на силикатный завод, где в три смены штамповал кирпичи за не особо высокую зарплату. Действительно, что могло быть между нами общего...

Надо сказать, у меня постепенно тоже сложился свой круг общения. В цеху среди угрюмых работяг оказалось немало интересных ребят, с которыми можно было запросто побеседовать по душам, не боясь неудобных тем. Все они вышли из рабочих окраин, где коммунальный ад порождает сонмы чудовищ, и всё же в дальних уголках этих ожесточённых сердец теплился свет, сберечь который хотелось вопреки грубой действительности. Мы хорошо понимали друг друга, ведь были слеплены, по сути, из одной и той же глины, успевшей попасть под обжиг. С братом мы не виделись долго – что-то около года, а может, и дольше, но когда встретились в родительском доме в день рождения отца, я поразился, насколько Павел изменился. Нет, не внешне – визуально он оставался таким же педантичным интеллигентом, даже, пожалуй, стал ещё более лощёным. А вот в манере общения с людьми наметилось некое пренебрежение, а иногда откровенный холод.

Весь вечер он зло подшучивал надо мной, поглядывая на отца, оценил ли тот по достоинству тонкость его острот. Я, конечно, тоже пытался отшучиваться, как бы поддерживая весёлую атмосферу семейного праздника и подчёркивая компанейские отношения между мужской половиной Клячкиных. Однако в моём понимании общение людей, тем более, близких, не должно служить проверкой границ допустимого, а способствовать налаживанию и упрочению связей. Конечно, я осознавал, что во многом сам был виной такого отношения ко мне со стороны брата. На протяжении долгих лет я не прилагал должных усилий, чтобы улучшить его. Мне казалось, что занятый интересным, сложным и важным делом брат более не нуждается в тесном контакте со мной, ведь все мои робкие попытки сблизиться всегда коротко и сухо им пресекались. Мне не хотелось быть назойливым.

5

Посидев за столом и поздравив отца, мы с Павлом решили прогуляться по городу. Предложение поступило от него самого, что я воспринял, как добрые намерения вернуться наконец к нормальному общению. Возможно, лёд внутри растопил алкоголь, а может, и правда ему захотелось восстановить целостность кровных уз. По дороге мы взяли ещё какого-то вина, чтобы прогулка была более тёплой и раскованной. Проходя мимо стеклянной двери ресторана, из которой уже начали вываливаться насытившиеся и хмельные посетители, Павел неожиданно наткнулся на группу молодых людей, оказавшихся его хорошими

знакомыми. Наша компания таким вот случайным образом сразу увеличилась человек до семи. Стало шумно и весело. Ребята были тоже из молодых интеллектуалов. Двое из ребят, как и Павел, имели дипломы медиков. Один, кажется, работал архитектором в серьёзной строительной конторе, остальные по виду походили на чиновников и, по-моему, сильно этим гордились, потому что фразы типа «наш шеф» или «у нас в управлении» для простой связки слов звучали слишком уж часто.

Увы, я почувствовал, что вместе с необузданным весельем в нашу вечернюю, а точнее, уже ночную прогулку вдруг вкрались совсем другие нотки. Ещё несколько минут назад мы с Павлом непринуждённо болтали о какой-то совершеннейшей ерунде, но в этом было столько живого участия с обеих сторон. Взрослые люди по-ребячьи хихикали, вспоминая банальные сценки из детства, где только им двоим было понятно, над чем и почему нужно смеяться. Когда-то мы явно были на одной волне, поэтому нам до сих пор не требовалось дополнительных усилий, чтобы сходу поймать нить фразы и, не дожидаясь конца, вдеть её в иглу разговора.

Но теперь у нас появились сторонние и не в меру язвительные попутчики. Что ж, там, где яркий индивидуализм – лишь суть негласного соревнования, острота слов всегда ценится выше их истинного значения. Я понял, что снова стал лишним. Простачок-дурачок с непонятным родом деятельности, с сомнительной репутацией, с ничтожным образованием и в социальном плане полностью соответствующий своей среде обитания – коим, безусловно, являлся я – в глазах этих уверенно держащихся парней компрометировал молодого и перспективного специалиста в области медицины своим присутствием. Я почувствовал, что брат снова стесняется меня. Видимо, чтобы как-то дистанцироваться, он опять стал зло шутить в мою сторону, чем заслужил несколько призовых очков у своих приятелей в виде одобрительных смешков.

Внутри всё вскипело, но Павел не унимался, входя в раж от ощущения возможности управлять вниманием всей компании. Я попытался отшучиваться, но если в присутствии родителей у меня хватало сил внешне оставаться хладнокровным, то быть посмешищем в глазах незнакомых мне юнцов не желал. Сначала из уст моих вырвалась какая-то откровенная грубость, но она подействовала на всех, кроме Павла. Общий смех резко смолк, и только брат продолжал сыпать свои циничные остроты, считая, что смеяться перестали лишь из-за недостатка градуса его шуток. Вдруг эмоции взяли надо мной верх – я в два быстрых и длинных шага оказался перед лицом брата, и сначала его челюсть нашёл мой левый кулак, а потом с сильным замахом и поворотом корпуса обрушился правый. Павел распластался на асфальте, и его ошалелые глаза блуждали где-то в пространстве чёрного ночного неба, пытаясь снова обрести связь с реальностью, но явно где-то не там.

Острые на язык приятели Павла на деле оказались робкого десятка – их хватило только на то, чтобы сгрудиться вокруг поверженного шутника и мямлить что-то про здравый смысл. Они подняли под локти брата, и его разбитые губы пытались членораздельно произнести в мой адрес первые

упрёки, а может быть, и проклятия, но я уже шёл по ночному городу, почти бежал, чтобы закрыться от всех в своей однокомнатной конуре на окраине, которую снимал у одной сварливой старухи. Это был последний раз, когда я виделся с братом...

Фёдор замолчал и снова уставился в окно. Удальцов понял, что сегодня дальше они уже не продвигнутся. Однако рассказ пациента тронул его до глубины души и, может быть, даже заставил посмотреть со стороны на себя самого. Романа беспокоило, что угрюмый и погружённый в сложный внутренний мир человек сейчас заточён в палате наедине с собственными мыслями и собственным прошлым в то время, когда, вероятно, где-то рядом живёт самая близкая для него на земле душа, которая не знает, насколько именно сейчас требуется её участия.

6

Новый врач – Даниил Попов – перешёл работать в интернат из областной поликлиники. Как уж так вышло, неизвестно, ведь обычно по служебной лестнице люди стремятся двигаться вверх, а не вниз. Хотя тут мог быть иной расчёт: работу в психоневрологическом учреждении нельзя было назвать каторжной, сравнивая с напряжённым графиком, существующим в главной региональной больнице. К тому же закрытость и особый статус интерната предполагали ряд преференций в финансовом и социально-бытовом смысле, которые несколько компенсировали отсутствие благодатной почвы для карьерного роста.

С другой стороны, какая уж там карьера. Даниил Петрович был уже не молод, до пенсии – сущий пустяк. Многие коллеги расценили этот шаг как желание напоследок найти место потише, сбросить побольше сил для беззаботного пребывания на заслуженном отдыхе. Особый контингент больных делал это предположение весьма спорным, однако бывалому психиатру тут и правда понравилось – он давно усвоил, что решётки на окнах дают порою больше света, чем стальные шторы повседневной рутины. Впрочем, решётки – это лишь стереотип, броская метафора. В интернате не находились социально опасные пациенты, требующие особо строгого режима содержания, для таких предусмотрены другие учреждения. И всё же у населения при случайном упоминании заведения в ходу были ещё дедовские эпитеты – «жёлтый дом», «дом скорби», а то и просто «дурка». В стране, где принято не зарекаться по-настоящему, пожалуй, только от тюрьмы, о которой тут знают в подробностях все от мала до велика, область психиатрии остаётся чем-то вроде засекреченного зверинца для человекообразных.

С первых дней работы на новом месте Даниилу Петровичу Роман Удальцов показался интересным собеседником. Удальцов был молод и энергичен, держался просто, но в то же время с чувством собственного достоинства, что говорило о сочетании доброго нрава и принципиальности. Такой и среди людей на хорошем счету, и в деле старается быть достойным

ремесла. А потом существенная разница в возрасте, минуя чисто иерархические проблемы отцов и детей, делала общение с ним реальным диалогом двух поколений, пристально глядящих не только вперед или назад, но и друг на друга.

– Есть ли у вас тут какие-то особенные пациенты? – стараясь не форсировать переход на «ты» и этим не лишать молодого коллегу права оставаться хозяином положения, спросил Даниил Петрович. – Вероятно, вам, как практику, всегда интересно находить себе поле деятельности посложнее. Я вот годами вёл приём потенциально здоровых людей, лишь иногда сталкиваясь с очевидной патологией, а здесь-то всё совсем наоборот.

– Уверен, с таким богатым опытом вы быстро адаптируетесь, – улыбнулся Роман. – Вы знаете, есть один пациент, который вызывает у меня интерес даже не врачебный, а, можно сказать, личный. Пожалуй, ради удачного разрешения тех внутренних конфликтов, что мучают его, я, наверное, и избрал когда-то психиатрию. Больше скажу, посильное участие в этой непростой судьбе заставляет меня шире смотреть на само предназначение врача.

– Любопытно. Могли бы мы навестить этого пациента?

– Разумеется – сейчас как раз время обхода.

Пока они шли по длинному гулкому коридору, Роман рассказал о почти полном беспамятстве Фёдора и о его взаимоотношениях с братом, вылившихся то ли в комплекс вины, то ли в непрекращающуюся тоску по утерянной полноте жизни.

Когда врачи открыли дверь в палату, Фёдор писал очередное письмо. Лицо его было сосредоточенным, и где-то в глубине непроницаемых глаз двигалась какая-то неуловимая для стороннего наблюдателя мысль. Даниил Петрович принялся рассматривать обитателя палаты, но как-то чересчур пристально. Он даже снял очки, решив довериться пусть уже слабым, но всё-таки собственным глазам. Потом он сделал несколько шагов вперед и замер.

– Не может быть, – пробормотал Попов. – Да ведь это же... Здравствуйте. Я ваш новый врач. Меня зовут Даниил Петрович. А как зовут вас?

Фёдор медленно поднял взор на вопрошающего. На его губах застыло последнее написанное им слово. Пальцы, держащие шариковую ручку, расслабились, и соломинка, за которую они так усердно хватались, упала на густо исписанный лист.

– Меня зовут Фёдором, – тихо произнёс пациент.

– Вы не помните меня? – неожиданно спросил Даниил Петрович.

– Нет, – коротко ответил Фёдор.

– Что ж, я думаю, что мы с вами ещё побеседуем как-нибудь в другой раз, а пока мне не хотелось бы отвлекать вас от письма.

Когда врачи вышли из палаты Фёдора, Даниил Попов тяжело вздохнул. Он несколько растерянно посмотрел на Романа, снова водрузил на переносицу очки и жестом руки предложил пройти по коридору.

– Как давно он у вас? – спросил Даниил Петрович.

– Я практикую здесь третий год, когда я пришёл на должность, Фёдор был уже здесь, – ответил Удальцов. – Согласно учётным документам, он попал в интернат шесть лет назад – практически сразу после его открытия. Вы ведь где-то видели его – я наблюдал за вашей реакцией. Мы так долго пытались узнать о нём хоть что-нибудь. Если вы располагаете какой-то информацией, то это просто подарок судьбы.

– Вы говорили, что брата этого несчастного звали Павлом?

– Да, именно так.

– Вы знаете, когда я был молодым врачом, только что окончившим институт, и прочил себе большое будущее, мне часто доводилось гулять в шумных компаниях докторов, где состоявшиеся в медицине люди считались авторитетами, а потому на правах старшинства науськивали молодёжь. Среди них особым статусом пользовался перспективный нейрохирург Павел Коньков. Вокруг все заискивающе шутили: «Наш Павел опять на коне» или «Полцарства за Конькова». Однажды он изрядно перебрал водки, что с ним никогда до этого не случалось, и начал вслух поносить всех и вся. Начал про медицинское начальство, а закончил своими родными и близкими. Я помню, что он что-то кричал про брата, что-то вроде: да какой он Коньков – ему больше подошла бы фамилия Клячкин. При этом как-то дико засмеялся, но никто не поддержал шутки. Даже отъявленным циникам она показалась кошунственной. Но Павел не унимался и с рюмкой в руке орал: давайте выпьем за здоровье Фёдора Михайловича Клячкина. Я очень отчётливо запомнил имя и отчество того, другого Конькова, так как ещё со школы люблю книги Фёдора Михайловича Достоевского. Кстати, разыгравшаяся сцена настолько отдавала достоевщиной, что казалось – вот-вот должны кого-то зарубить топором или как минимум швырнуть в камин целое состояние. Так оно, в каком-то смысле, и случилось, но позже. Павел серьёзно запил, пустился во все тяжкие. Его выгнали с работы, жена ушла от него к какому-то школьному учителю истории, как потом стало известно, скрыв от бывшего мужа беременность. Между прочим, историк, ставший впоследствии начальником районного отдела образования, оказался благородным – принял чужого ребёнка и воспитал, как собственного. О Павле же больше ничего не было слышно. Ума не приложу, как такое могло случиться с образованнейшим и преуспевающим человеком. Говорят, что его хотели перевести в Москву на завидную должность, а потом предпочли другую кандидатуру. С его тщеславием и эгоцентризмом пережить такое, действительно, было сложно...

– Даниил Петрович, вы к чему сейчас клоните?

– К тому, коллега, что под именем Фёдора Клячкина в вашем интернате содержится не кто иной, как Павел Коньков. Честно говоря, считал его давно умершим.

– Может, вы ошиблись?

– Исключено. Время сильно потрепало этого человека, но не стёрло выразительные черты его лица. А потом – тот самый шрам над левой бровью. Слышал, будто бы он заработал его в какой-то уличной драке.

– Это его родной брат так отделал однажды, – подхватил Роман с просиявшим лицом, какое обычно бывает у школьника, решившего пример быстрее учителя.

– Помилуй Бог. Откуда такие подробности?

– Фёдор – то есть Павел – мне сам всё рассказал, и теперь мне, наконец, многое становится ясным. Его помутнённый разум цепляется теперь за самые яркие и глубокие переживания. Видимо, он долго носил в сердце тяжёлый груз раскаяния за то, как обошёлся с Фёдором. Он сжился с этим и подсознательно продолжает искать шанс на прощение, искать брата. Вот почему никто не мог обнаружить его родственников – ведь мы же наводили справки по Клячкиным, а нам нужен Фёдор Коньков, Павлу нужен.

– Увы, напрасный труд. Фёдор умер – и уже давно. Когда Павла ещё не уволили из клиники, в нашем кругу стали шептаться, что поехавший с катушек нейрохирург даже на похороны старшего брата не пришёл. Вот так-то, друг мой...

– Что ж, он упустил возможность попросить прощение у одного из самых близких людей, но, может быть, получит шанс искупить вину перед другим, – в голове Романа уже возник план...

8

Воскресным солнечным днём дверь в палату Павла Конькова снова отворилась. На пороге стояла статная женщина, которая, несмотря на уже неюный возраст, выглядела просто обворожительно. Она сделала короткий шаг, оперлась лёгкой ладонью о стену и стала внимательно смотреть на обитателя палаты. Вдруг в глазах у неё заблестели слёзы, и робкий ручеёк проложил еле приметное русло на бледной щеке. Когда Павел, неподвижно глядящий в окно, медленно обернулся, первое, что он услышал – похожее на всхлип слово «папа».

В это время Роман и Даниил Петрович пили чай в ординаторской и беседовали. Молодой врач, как обычно, идеализировал на тему человеческих отношений, а умудрённый опытом психиатр по-прежнему мрачно философствовал, подводя под сказанным коллегой свою деликатную черту. Используя обширные знакомства, Попову удалось достаточно быстро найти дочь Павла Конькова, а вот дальше пришлось действовать самому Удальцову. Глубоко переживая чужую боль, он, пожалуй, был сейчас единственным кандидатом на роль чуткого посредника между последними участниками

старой семейной драмы. Впрочем, к искренней радости Романа, чрезмерных усилий для того, чтобы воссоединить дочь и отца, не потребовалось – Екатерина Львовна Квасневская после смерти приёмного отца и мамы, уже давно открывшей дочери тайну её рождения, сама вела упорные поиски Павла Конькова.

Дело было не только в том, что она выполняла последнюю мамину просьбу – мысль отыскать папу, который даже не подозревает о её существовании, наполнила особым смыслом и без того непростую женскую судьбу. Что он скажет ей, посмотрев в глаза? Признает ли? Покается ли? Скажет ли спасибо доброму человеку, чьё отчество она сейчас с благодарностью носит, за ту по-настоящему отцовскую заботу, которую тот годами дарил рождённой не от него дочери? Сумеет ли понять и простить маму, нашедшую новую любовь в момент, когда прежняя разбилась вдребезги? Оставшись в целом свете совершенно одна, Екатерина Львовна уцепилась за возможность вновь обрести семью. Она готова была простить, потому что сама нередко просила прощения и знала горький, но искупительный вкус раскаяния. Получив информацию от Удальцова, она тут же приехала в интернат, будто всё время ждала, какого-то обещанного чуда – и вот оно свершилось. Теперь у неё появится родной отец, а у него – дочь. Они обнимутся, и генетическая память поможет им обойтись без долгих объяснений.

Через какое-то время после оформления необходимых бумаг Павла Конькова забрала к себе дочь. Палату занял новый пациент – очередная потерянная душа. Но каждый раз бывая здесь, Роману по привычке хотелось сказать: «Здравствуйте, Фёдор!». Однажды уборщица, наводившая в помещении порядок, отодвинула тумбочку и обнаружила исписанный листок бумаги. Находку она передала дежурившему по отделению Удальцову. Узнав знакомые закорючки, Роман внутренне вздрогнул. Он развернул помятый лист и увидел, что весь текст состоит из одного повторяющегося сотни раз слова «прости». Удивительно, насколько в максимально широком смысле это читалось теперь – будто писал не конкретный человек конкретному человеку, а словно всеобъемлющее сердце, полное вселенского покаяния, взывало к абсолютно всем. Это было эхо того самого колокола, который вечно звонит именно по тебе. Роман поговорил по телефону с мамой, а потом набрал номер своей девушки Любы – сегодня ему хотелось быть безгранично чутким, как если бы сел за письмо, где каждое слово – поиск одного, единственно верного.

ИРИНА КОРОТЕЕВА, Россия, г. Ростов-на-Дону

(Лауреат в номинации «Имя»)

Член Союза писателей России, победитель и лауреат общероссийских и международных литературных конкурсов. Автор сценариев и режиссёр спектаклей. Автор книг «Зелёная река» и «Дом из облаков».

ДВА ПЕТРА

I

На этот раз Петра Степановича прихватило куда как сильнее, чем обычно. Земля качнулась, в глазах зарябили мураши, и повалился он кулём прямо в кусты помидоров. Падая, успел подумать, что два глотка сверх отведённой им самому же себе нормы, видать, были лишними; что жинка обязательно найдёт схороненную в курятнике бутылку первача; что помидоры уродились в этом году на редкость, и как теперь Дуся будет управляться с таким урожаем одна – непонятно.

Монументальная Евдокия, приговаривая: «Допился, ирод», взгромозила мужа на тачку, доставила его в хату и побежала за соседкой-фельдшерницей. Та, бросив дела, поспешила к больному.

Вердикт был вынесен неутешительный: голова – дело серьёзное, и хоть у Степаныча мозгов в ней с гулькин нос, а лечиться всё одно нужно, и лучше бы в больничке. Иначе ничего хорошего его не ждёт.

Решилось быстро. Пока Евдокия собирала всё необходимое для мужа, за больным приехала скорая. Для хутора это было событием, и возле Петрова двора быстро собралась толпа. Степаныч, успевший прийти в себя, осознавал всю значимость момента, поэтому даже немного постонал, когда санитары выносили его на носилках из хаты.

В лечебнице старику не понравилось. Даже несмотря на то, что на новый 1986 год руководство района подарило больнице цветной телевизор, и теперь его включали по вечерам на радость пациентам.

– Тоска зелёная, – припечатал вновь оформленный, едва взглянув на стены, крашенные зелёной масляной краской.

Пётр Степанович Катагоров, человек общительный и деятельный, имел рост – небольшой, зато нос – великий. Вокруг лысого черепа перевёрнутым нимбом клубились белые волосы, встававшие дыбом, когда их хозяин входил в раж. Балагур и весельчак, выпив, Степаныч начинал рассказывать небылицы. Из-за этого хуторские считали его пьяницей и брехуном.

Соседи по палате на контакт с Петром Степановичем шли неохотно, единолично поглощали передачи родственников, чем немало удивляли старика, вываливающего на общий стол жёнины гостинцы.

Степаныч откровенно тосковал. Единственной отдушиной в монотонном течении больничной жизни стало для него общение с санитаром Петькой. Петька был удивителен, потому как был он негром. Кожа цвета зрелой свечки чакана, белоснежные зубы-«лопаты», каракулевые волосы – всё восхищало Степаныча.

Петьке только-только исполнилось тринадцать, и являлся он воспитанником детского дома из Ростова. На работу пацана определили по протекции директора приюта. При каких обстоятельствах оказался на попечении государства, Петька не помнил, усыновлять его никто не хотел, в школе дразнили, и рос он озорником и драчуном. Директор буквально спас сорванца от очередного привода, пристроив на летнюю практику в районную больницу, подальше от Ростова. Тяжёлую работу практиканту не поручали, но разносить еду больным и доставлять до прачечной тюки с грязным бельём было ему вполне по силам.

II

Сошлись Пётр Степанович и Петька на любви второго к еде. Как-то, встретив на больничном дворе тощего санитаря, Степаныч усадил мальчонку перед собой на лавку и торжественно развязал Евдокиин штапельный платок с домашними гостинцами: корчиком жирной сметаны, кольцом кровяной колбасы, знаменитыми катагоровскими помидорами, кругляшом хлеба и шматком сала. Петька терпеливо ждал, и только когда кормилец аккуратно разместив на платке яства, гостеприимно развёл руки, основательно приступил к еде.

Пацан ел, а старик, глядя на него, млел. И так вдруг захотелось ему рассказать этому голодному мальчишке всю свою жизнь с того самого времени, когда ещё бегал без порток, а только в одной рубахе, потому как портки эти казачонку по возрасту ещё положены не были.

– Да, хлебанули мы в войну! Хотя я тогда ещё гусяток по базу гонял, а запомнил, как батя на фронт уходил. Сам – высокий, чуб чёрный из-под папахи вьётся... Наклонился он ко мне, а донышко у папахи красное оказалось, и крест поперёк вышит. Батя с жеребцом нашим Буяном уходил: казаков-то большей частью в кавалерию определяли, а мамка за стремя ухватилась и держит, не отпускает... Как чувствовала, что больше его не увидит. Родитель мой под Москвой голову сложил, ну и Буян с ним, конечно. Нам тогда письмо за подписью самого Доватора пришло: мол, погиб ваш муж и отец смертью героя, за что был награждён посмертно медалью за храбрость.

Степаныч крякнул, достал из кармана мятый серый платок и промокнул глаза.

– Да только письмо это получили мы уже в сорок четвёртом. А так-то фрицы область нашу оккупировали, ну и к нам в хутор на колясках тоже прикатили. Я тогда уже большенький был, понимал, что враги это. Они нас с мамкой из хаты в летнюю кухню выгнали, а в хижке нашей, что отец строил,

офицер немецкий поселился. Помню, как мать меня на целый день закрывала, чтобы на глаза я ему не попадался, а сама с утра до ночи на полях ломалась. Когда приходила, насквозь промёрзшая, падала колодой, какая была – в тулупе, в валенках, на кровать, и пока хоть мало-мальски не сугревалась, подняться не могла.

– Ты, давай, давай, Петьша, налегай. – Увидев, что Петька замер, старик пододвинул поближе к едоку тугобокие помидоры.

– А потом погнала Красная Армия фрицев через всю область в их фашистское логово. Те сопротивлялись, гады. Досталось тогда хутору нашему. Бои шли страшные: и народу хуторского положили немерено, и хат, пригодных для жилья почти не осталось. Меня в ногу ранило, легко. Но, видно, к лучшему это было – уж больно мамка по отцу тосковала, а тут надо было мной заниматься, лечить. Трудно, тяжело, да только всё равно победили мы! После победы и время по-другому пошло. Вроде и голодно было, и холодно, а жить так хотелось, что ничего плохого мы не замечали.

Рассказчик шумно высморкался:

– Ну, а потом я подрос, стал матери помогать. Я ж единственный мужик в семье остался – на меня вся надежда была. Дусю свою за приметил на танцах в соседней станице. Она девка статная уродилась. Глазища – озёра, косы смоляные, с руку толщиной. Да ведь и я тоже видным хлопцем был! Девахи на меня заглядывались, а мне только она, Евдокия, требовалась. Год мы женихались, а потом засватал я её. Поженились. Дом построили. Живностью обзавелись: коровёнка, хрюшки, птица всякая. Хозяйка она у меня знатная! Какой борщ варит, ты такого и не едал никогда...

– Дядя Петя, а дети у вас есть? – подал голос сытый мальчишка.

– Деток, Петюха, Господь не дал. Дуся моя перемороженная ишо с малолетства. Война никого не щадила. Мальцы после неё проклятой наравне со взрослыми в колхозе работали, с полей на себе горелую военную технику утаскивали. Лошади от усталости падали, а мы вместо них впрягались – пахали. Так что, выходит, наши с Дусей детишки, так и не родившись, на войне смертью храбрых полегли... Она, сердешная, не жаловалась никогда, а сама, когда думала, что не видит никто, с цыплаками нянчилась, с телятами, как с детьми малыми, разговаривала. Эх...

Старик начал суетиться над продуктами – перекаладывать помидоры, собирать хлебные крошки в ладонь, опуская голову пониже, чтобы пацан не видел слёз, капающих в эти самые крошки...

Посиделки приятелей стали ежедневными. Петька для Степаныча стал самым лучшим собеседником, потому как молча жевал и только согласно кивал в ответ. Закончив свои ежедневные труды: больной – процедуры, а медицинский работник – производственные задания, усаживались они прямо на траву за прачечной и устраивали пир.

Ш

Шло время, и срок, отведённый на лечение, подходил к концу. Больным Пётр Степанович оказался дисциплинированным: предписания врачей выполнял беспрекословно, да и пить бросил. Временно, конечно.

Чувствовал он себя хорошо, и все думы его были уже дома, на хуторе: как там Дуся без него управляется; что нужно обязательно успеть подлатать крышу до дождей; что скоро пора по сезону квасить капусту и ставить вино – лучше него, Степаныча, это всё равно никто не сделает.

Получив выписку, он быстро собрался, попрощался с соседями по палате и уехал на попутке восвояси.

Петька, как ответственный работник, в этот день был неожиданно отправлен на машине в соседний колхоз за овощами для больничной кухни. Не успев увидеться со Степанычем напоследок, мальчонка загрустил: беспокойный старик за короткое время стал ему верным товарищем и близким человеком.

Теперь, после его рассказов, пацан так ясно представлял себе белобокий дом с высоким крыльцом, душистый табак и фиолетовые петушки в палисаднике Евдокии, и её саму, переливающую густое молоко через марлю из подойника в баллон и что-то ласково говорящую корове Майке.

Лето, такое удивительное лето в Петькиной жизни, таяло. Мальчишка вытянулся и даже немного поправился. Здесь, среди заботящихся о нём людей, он отошёл душой, стал спокойнее. Впереди ожидало возвращение в детский дом.

Перед отъездом Петьку вызвали к главврачу. Понимая, что его зовут попрощаться, пацан еле добрёл до кабинета и остолбенел. Маленькая комната была полна народа: главврач, директор детского дома, Пётр Степанович и Евдокия, которую санитар раньше видел только издали.

Взрослые что-то бурно обсуждали, но при появлении мальчишки враз замолчали и повернулись к двери. Директор кашлянул и вышел вперёд:

– Пётр... Нашёлся твой отец.

Петька, недопонимая сказанное, молча смотрел на него.

Степаныч подал голос:

– Значить, тут такое дело... – старик замялся, но потом всё-таки выдохнул:

– Я – твой батя.

Тишина, повисшая в комнате, придавила. Петька качнулся и, пятясь назад, медленно вышел из кабинета, упёрся в стену и вдруг припустил по длинному больничному коридору. Бежал он всё быстрее и быстрее от чего-то волнительного, непонятного для него и от того очень страшного.

Участники разговора разбрелись в поисках мальчика, но первой нашла его Евдокия. Петька, обняв колени, сидел у стены прачечной. Грузная женщина с трудом опустилась на землю рядом с ним. Какое-то время они молчали, думая каждый о своём. Евдокия заговорила первой:

– У нас на прошлой неделе телега курицу задавила. Жалко, конечно... А вчера я в хате побелила потолки. Обычно я на Пасху белю. Но лучше два раза в год, правда же?

Пацан молча смотрел перед собой, никак не реагируя на эти откровения. Тем не менее она продолжила:

– Нашего пса Волком зовут, представляешь? До того он был похож на волка, что мы сразу так его и назвали. А умный какой: залезет на будку и сидит тихонько. Как только кто-то мимо забора проходит – подпрыгивает и гавкает: мол, ходить – ходите, но помните – кто здесь главный. Только старый он уже – второй десяток разменял. Мы завели ему дружочка – щенка. Потешный такой: живот – круглый, хвост колечком, сам – рыжий, кличку только не придумали пока...

Петька, резко развернулся, уткнулся в мощную грудь Евдокии и заревел в голос. Женщина крепко обняла мальчишку за костлявые плечи и стала качать его, как маленького, целуя в жесткую кудрявую макушку. Одно шептала:

– Поплачь, сыночек, поплачь...

IV

Пётр Степанович сидел в окружении хуторских мужиков на лавке возле своего плетня. Закрутив по послевоенной привычке самосад в газету и, прикурив от спички, поднесённой соседом, он задумчиво обронил:

– От оно как бывает... Я и был-то в Ростове по колхозным делам всего один день. Завошкаться – пришлось в городе заночевать, в Доме колхозника. Вот тогда мы и встретились. Кожа чёрная у неё была, гладкая, глаза красивые, большие. Да и не только глаза... Рыбой она торговала на базаре – Дом колхозника ведь аккурат супротив центрального рынка стоит. Ну, выпили разок мы с ней за знакомство, потом ещё маленько. Так вот и вышло...

Увидев сомнение в глазах благодарных слушателей, пресёк его на корню:

– Я ишо в силе! Хоть у Дуси спросите!

Застыв на секунду, передумал:

– Хотя нет, у Дуси не нужно, чего её беспокоить... Ну, вот. Больше я эту женщину не видел, конечно. А когда с Петюхой познакомился, сразу понял: мой! Да сами смотрите, у нас же носы похожие.

Степаныч повернулся к собеседникам профилем и продемонстрировал выдающийся нос.

– Женщина эта очень несознательная оказалась: мальчика в детский дом сдала. Да и что с неё взять – рыбой человек торгует.

Старик затянулся вонючим махорочным дымом и поперхнулся. Прокашлялся и продолжил.

– Жинке я во всём как на духу признался. Так и сказал: «Прости, Евдокия, бес меня попутал!». Ну, после этого она, конечно, чуток меня мокрой тряпкой отходила...

Степаныч поёжился:

– Но я претензий к ней никаких не имею! Сам такое не спустил бы. Потом поплакала, бедная моя. Да только бабье сердце не камень. Вместе мы решили: нечего дитю по приютам болтаться. Родина здесь его. Опять же, отец – родная кровь...

Из калитки вышли Евдокия и Петька. Евдокия – в нарядном зелёном платье, пацан – намытый, надушенный отцовским «Шипром», в белой рубашке, застёгнутой на все пуговицы.

– Ну, всё мужики, пора мне! В магазин идём: сынку ботинки покупать. – Пётр Степанович поднялся и поспешил за своими.

Евдокия шла и размышляла о том, что нужно бы Петьке к зиме из старой мужниной дохи справить душегрейку, да навязать побольше носков, чтобы он, её Петька, не мёрз, когда будет с хуторскими пацанами кататься на салазках.

Степаныч вышагивал справа от жены и сына. Он, не видевший до встречи с Петькой ни одного негра живьём, думал, какая, всё-таки, замечательная страна Африка: вон какой сынок у него – сильный, крепкий. И человеком хорошим вырастет, уж он-то как родитель в этом уверен.

Петька шёл бесконечно гордый отцом и матерью. Тем, что сегодня утром мама в первый раз доверила ему подоить Майку, что ему разрешили самому придумать имя щенку, и назвал он его Пиратом, и тем, что сейчас купят ему ботинки, такие же новые и чудесные, как и его теперешняя жизнь. Жизнь потомственного донского казака – Петра Петровича Катагорова.

РУСТЕМ САБИРОВ, Россия, Республика Татарстан, г. Казань

(Лауреат в номинации «Абсолют»)

Рустем Раисович Сабиров родился 13 декабря 1951 года в Казани. В 1969 году закончил казанскую среднюю школу № 18, в 1973 году – Казанский финансово-экономический институт имени В. Куйбышева по специальности инженер-экономист. В 1973-75 г. служил в Советской Армии. Работал на заводе пишущих устройств инженером-технологом, на заводе «Радиоприбор», инженером отдела главного механика, в Татарском книжном издательстве редактором художественной литературы, в редакционно-издательском секторе Государственного Совета Республики Татарстан главным специалистом. В настоящее время на пенсии. Член Союза писателей Республики Татарстан с 1992 г., поэт, прозаик, драматург, переводчик. Лауреат литературных премий имени Г. Державина и М. Горького. Автор книг «Прощание с ангелом», 1991, «Странные истории. Летучий Голландец», 1997, «Конец Лабиринта», 2001, «Беглец», 2007, «Веретено», 2016.

ПОСЁЛОК. ОЗЕРО. ДОМ

*И тонкий свет исчезнувшей земли
Отталкивал рукой неторопливой.
Николай Заболоцкий*

Так вышло, что остался Хакимов без одежды. То есть буквально. И никто в том не виноват, кроме него самого. Разве что озеро.

Озеро, что он увидел в вагонном окне...

Жарко было, электричка была набита битком, шла медленно, воняло там отовсюду невесть чем. И день выдался бестолково суетный, надрывный.

Вот и потянуло его на то несчастное озеро, которое сквозь серое с грязевыми разводами оконное стекло показалось прямо-таки райской лагуной. Да так потянуло, что взвизг захотелось с досады, что тронется наконец через мгновение пропечённый, как вошебойка, вагон, и пропадёт озеро, и никогда уж больше, никогда... Ах, опасное это всё-таки слово – «никогда». Таким леденящим холодком иной раз пахнёт от него.

И вот тут раздвинул Хакимов локтями народ, слипшийся, как леденцы в банке и стал торопливо пробираться к выходу. «Искупись, – подумал он, – и тут же на следующую электричку. Народу, глядишь, поменьше будет».

* * *

И вот тут приключился с ним казус. Пренеприятнейший. Дело в том, что у самой двери стоял скверно одетый мужичок с сумрачным лицом, похожим на червивое дупло, с огромным костлявым велосипедом. На остановках, когда

раздвигались двери, мужичок неохотно приподнимал велосипед на заднее колесо, как шлагбаум, не обращая внимания на недовольство и ворчбу. Когда Хакимов буравчиком извилисто добрался до двери, велосипед был уже почти водворён на место. Тогда он, чертыхнувшись, отпихнул велосипед ногой в сторону и, слыша спиной негодующий, чавкающий, как мясорубка, мат, вывалился на горячую, пахнущую мазутом и пылью платформу. Причём вывалился в самом скверном, прямом смысле. Попросту рухнул, нелепо суча руками, обдирая ладони о серый, режущий асфальт. Кажется, ноги зацепились за что-то. Произошла мгновенная сумятица, окружающий мир полыхнул, завертелся переливающимся, радужным диском раскрученных велосипедных спиц, на какое-то мгновение заполнился спёртым мраком, заполненный криками, так бывало когда-то, когда вдруг гас экран в кинозале. Жгучая каменистая пыль заполонила, кажется, все лёгкие, даже вошла в кровь. Боль, которая началась с содранных ладоней, наводнила всё тело, на какой-то миг стала нестерпимой, он даже, кажется, закричал, но боль быстро закончилась, попросту смешалась с темнотой и стала её частью. Да и темнота вскорости пропала. Хакимов, озираясь и тряся головой, поднялся на ноги, глухая остаточная боль ещё пульсировала в ладонях, на локтях, за грудной клеткой, но большая её часть хотя и не исчезла, но существовала уже как бы вне его.

Электричка почему-то всё ещё стояла. На платформе грудился народ, они что-то обсуждали, галдели, жестикулировали, но для Хакимова они были неинтересны. Он легко сбежал вниз по ступенькам и зашагал в сторону озера.

* * *

На берегу было совершенно безлюдно, несмотря на зной. Да и само озеро показалось ему неживым, ненастоящим, с неестественно приглаженной поверхностью воды, бутафорскими, лакированными пучками камышей и какой-то бестолково парящей над водою птицей.

Хакимов уже жалел, что сошёл на этой богом забытой станции, да ещё с таким нелепым приключением. Однако неторопливо разделся, сложил одежду под ивовый куст и бодренько побежал к воде.

Никакого удовольствия купание не принесло, вода была такая же неподвижная и вялая, как воздух вокруг. И песок – какой-то вязкий, зыбучий, неприятно прохладный. Лишь на мгновение сонное колыхающееся тепло вдруг полыхнуло ледяным недобрым холодком, да так, что потемнело в глазах. И странно, то неприятное ощущение едучей, проржавленной пыли – на зубах, в ноздрях, на коже, повсюду – упорно не оставляло.

Однако всё равно лучше, чем в раскалённом пахучем тамбуре, успокоил себя Хакимов. Выбрался на берег. Решил не торопиться и покурить на бережке. Странное какое-то озеро. Как оно называется? И станция эта. Сколько ездил, а не видел ни разу. Какая-то новая, что ли? Впрочем, кто-то в тамбуре сказал что-то... ах да, посёлок Шуган.

Он бодро вернулся к тому месту, где разделся, но обнаружил вдруг, что ни сигарет, ни одежды нет. Вообще ничего. Будто и не было тут никакого Хакимова.

Досадливо морщась, не веря до конца случившемуся, он тяжёлой поступью непроспавшегося человека обошёл проклятое озеро. *Безрезультатно*. Где-то в глубине уже заелозил, запросился наружу порыв тупого истерического смеха. Хакимов с трудом взял себя в руки и стал обдумывать положение. Хотя что, собственно, обдумывать, – одежды нет, денег нет, документов нет. Ни черта нет. Только игривые бело-розовые трусы, да и те мокрые.

* * *

Нет, однако, ничего проще безвыходного положения. Ибо безвыходное положение – это когда есть только один выход.

Хоть так, хоть этак, надо дойти до платформы. Сесть в электричку. Добраться от вокзала до дома. Да, в трусах, чёрт побери! Лютики-цветочки, бело-розовый зефир. А у вас есть иные варианты, джентльмены?

До платформы было метров двести. Хакимов с томлением вспомнил, как легко пробежал он эти злополучные метры ещё полчаса назад, счастливым обладателем отличных, почти новеньких штанов и свободной летней рубашки, и ещё много чего другого.

Крестный путь был обильно усеян битым бутылочным стеклом. Судьба вторично за день показала Хакимову хихикающее мурло. Никто, однако, никакого внимания на него не обращал. Те редкие люди, что попадались навстречу, во-первых, смотрели будто сквозь него, во-вторых, они были странно одинаково одеты. Какие-то бесформенные робы цвета мокрого сахара. Как в полевом госпитале. Да и лица у всех были будто незрячие. Серые, впалые, с бесцветными выпуклыми глазами, как у античных статуй.

Хакимов решил было ничему не удивляться – ну вот такой он, этот посёлок Шуган, лучше не вникать, себе дороже. Однако удивиться всё же пришлось. Платформы не было. Вот вообразите, не было и всё. Там, где она должна была располагаться, тёк широкий мелководный ручей, похоже, промышленного происхождения, через него был перекинут мостик из двух бетонных свай. За ручьём возвышался покосившийся щербатый киоск с сохранившейся надписью «Мир света». Далее простирался беспросветный, бесцветный пустырь.

Вот тебе и Шуган, уркаган, дырявый калган. Вот тебе и райская лагуна, вот тебе и полцарства за штаны.

* * *

– Что-то потеряли?

Прямо за мостиком стоял невесть откуда взявшийся человек в помятой фуражке пограничника с треснувшим козырьком. Хакимов вздрогнул, узнав в

нём типа с велосипедом из тамбура. Только пропали болезненная сутулость и озлобленная настороженность во взгляде.

– Вы... вы откуда здесь?

Человек лишь снисходительно улыбнулся.

– Я спрашиваю, вы что-то потеряли?

Незнакомец смотрел на него с равнодушным любопытством. Однако лицом совершенно не походил на остальных жителей посёлка. Глаза смотрели в упор с жёсткой ознобной пристальностью. В них не было злобы, издёвки, лишь насмешливое уничтожающее безразличие.

– Н-нет. То есть... Вы не подскажете, где тут железнодорожная станция? Ч-чёрт, я заблудился, кажется. Да и вообще весь этот посёлок...

Он комично провёл руками от плеч до живота, давая понять, что этот вот нелепый вид его есть прямое следствие странности этого посёлка.

– Железная дорога? – незнакомец вскинул брови и глянул на него, как на сморозившего глупость ребёнка. – Путаете вы, гражданин, чего-то. Нет тут для вас никакой железной дороги. Так что вам – сюда, на этот бережок. Не бойтесь, мостик надёжный, не таких выдерживал.

– Слушайте, – что вы мне тут морочите голову? Какой бережок ещё! Если знаете, как пройти к станции, подскажите. Нет, так подите к чёрту.

Он хотел развернуться и пойти в другую сторону, но тут боль, которая туманно колобродила где-то возле, вдруг вошла в него тупым толстым жалом снизу, словно решив разорвать его изнутри. Посёлок на мгновение исчез, обернулся мечущимся хаосом. Он услышал, как кто-то прямо над ухом монотонно произносил слова, но слова эти не выстраивались в осмысленную цепочку. Однако мгновение прошло. Свет вернулся. Но боль продолжала вертеться в нём ржавым веретеном.

Незнакомец же, внезапно переменяясь в лице, торопливо перескочил через мосток и подошёл к нему.

– Э, вон чего! Это что ж я сразу-то...

Он рывком взял его за плечи и глянул в глаза. Взгляд был настолько тяжёлым, невыносимо пристальным, что Хакимов на миг забыл о разрывающей его боли. *Это не был взгляд человека.* За выпуклой глянцевиной оболочкой туманилась крошечная тьма. Да и боль ушла, то есть вновь перетекла в добавочную полость, и Хакимов глядел на незнакомца уже как на избавителя, забыв, что мгновение назад не испытывал ничего, кроме презрения и ярости.

– Да вам, почтеннейший, не туда вовсе. Извините, ошибся. Ступайте-ка, вон туда. Переждите. Там видно будет. И железная дорога объявится, глядишь.

Он указал длинным заскорузлым пальцем в сторону стоящего особняком дома с допотопной, похожей на помело, радиоантенной на позеленевшей черепичной крыше. По обеим сторонам возвышались беспокойно шумящие на ветру ивы.

– А что там? – спросил немало удивлённый Хакимов. – Или кто?

– Никого. И ничего. Но переждать можно. Ступайте, не надо вам тут...

Хакимов покорно кивнул и побрёл в сторону дома. У самой изгороди он обернулся. Незнакомца уже не было. Там, где он стоял мгновение назад, валялся насквозь проржавевший скелет велосипеда.

* * *

Во дворе царило запустение. У полусгнившей собачьей конуры зеленела недогрызенная кость, из опрокинутой бочки настороженно таращилась ящерица, вокруг едва заметно горбились задушенные одуванчиком грядки, на дорожке сиротливо валялся игрушечный самосвал с расплюснутым кузовом.

Дом был старый, наглухо заколоченные окна делали его похожим на сарай, над крышей висел скособоченный скворечник с отвалившимся дном.

Он нервно прошёлся по двору, распугивая кузнечиков и лягушек. Затем подошёл к дому, постоял в нерешительности и вошёл в сени. Там царил такой же бедлам, как и во дворе, было к тому же темно и пыльно, пахло мышами, прокисшей едой, под ногами громыхнул рукомойник, в углу косо громоздилось зеркало, прикрытое упавшей портьерой. В другом углу стоял кургузый зелёный сундук с перемотанным проволокою засовом. Он хотел было попробовать его открыть, но, обернувшись, испуганно замер: у приоткрытой двери, ведущей в дом, неподвижно стояла женщина. Худенькая, невысокая, в просторной клетчатой рубашке навыпуск и закатанных до колен джинсах, она смотрела на Хакимова сквозь большие затемнённые очки с пристальным любопытством.

– Э-э... простите... я думал... – с трудом выдавил из себя Хакимов, переминаясь с ноги на ногу.

– Можете не продолжать, – перебила его женщина. – Вы думали, тут никого нет. Правильно?

Хакимов хотел сказать что-нибудь весёлое, даже игривое, но, вспомнив, что он без штанов, передумал.

– Вы, простите, здесь живёте? – спросил он вместо этого.

– Не знаю, – перестав улыбаться, ответила женщина. – Думаю, что нет. Я, по правде говоря, сама не пойму, как здесь оказалась. Это смешно, но – так.

– Да нет, вовсе не смешно... Вы электричку ждёте?... Вы хоть что-то можете объяснить вообще?

– Что вы хотите, чтоб я вам объяснила? – голос женщины стал сухим и отрывистым, видимо, ей передалось раздражение Хакимова. – Я уже сказала: я не знаю. Никакой электрички. А сюда ходят электрички?

– Кто вас сюда привёл? Тот мужик в зелёной фуражке?

– Нет. Мальчик.

– Мальчик?!

– Да что ж вы кричите?! Ну да. Худенький такой, серьёзный. Совсем не улыбается, исподлобья смотрит, да так, будто знает обо мне больше, чем я сама. Даже забавно.

– С велосипедом? Я говорю, мальчик был с велосипедом?

– Да, – она глянула удивлённо. – Я ещё удивилась: мальчик, а велосипед – дамский, жёлтый такой, как канарейка. А вообще, я его где-то видела раньше, этого мальчика. И тоже с велосипедом... жёлтым. И ведь недавно совсем, наверное, мельком. Он остановился, а я... я всё искала больницу, понимаете? У нас что-то такое случилось с машиной. Мы ехали – я, Аля, моя дочь, и... в общем, ещё мужчина один. Что-то такое случилось, где-то на повороте, я как-то так упала, – она рукой описала дугу, – было больно, меня должны были отвезти в больницу. Но я почему-то осталась там... у ручья. Я искала больницу, Алю... но тут появился этот мальчик. Он и сказал, что с Алей всё хорошо, а мне надо идти вот сюда. Я потом снова выходила, искала, никого не находила и всякий раз возвращалась сюда. Как вы думаете, – она вдруг глянула на него почти с мольбой, – это всё скоро закончится? Мне уже кажется, что случилось что-то плохое, и я ничего не могу изменить. Сажу тут, как дура, и жду непонятно чего... Вы меня не слушаете? Куда вы пошли?!

– Да куда, – ответил Хакимов, не оборачиваясь, вновь подошёл к зеркалу и сбросил с неё бахромистую от пыли портьеру. – Висит, будто помер кто, – пробормотал он, брезгливо морщась.

Однако в зеркале, матовом от пыли и свалывшейся паутины, не отразилось, можно сказать, ничего, лишь бледный силуэт, похожий почему-то на кокон, а сзади – вовсе нечто едва различимое. Хакимов безотчётно протянул руку, дабы смахнуть пыль, но его тотчас остановил испуганный птичий вскрик женщины.

– Не надо! Оставьте его. Оставьте, я вас прошу!

– Да ничего страшного, – весело бросил Хакимов, не оборачиваясь. – Кто-то сказал: зеркала, как люди – множат подобных себе. Вот не помню, кто...

Ему вдруг пришла в голову простая и сытая мысль, что время, отведённое ему (непонятно, кем и сколько!) можно с пользой и удовольствием использовать, предавшись прелестям мимолётной любовной разрядки с этой перепуганной (тем лучше, напуганные – податливей, глаже и пикантней), но не лишённой привлекательности женщиной.

– Ну послушайте, – начал Хакимов бархатисто участливым тоном старого обольстителя, затем бережно положил руку на её узкое съёженное плечо, а другой осторожно снял с неё очки, которые оказались, кстати, совершенно разбитыми. Курьёзно. – Послушайте же. Вот мы сейчас одни в этом доме. Вам нужно одно, мне – другое, – пальцем он ощупал выпуклую ключицу. С удовольствием отметил, что женщину начинает бить дрожь, – так давайте же...

Кажется, женщина начала было что-то говорить, но голос её как-то странно, скрипуче осёкся, будто кто-то внезапно сорвал стоп-кран, затем послышался протяжный горловой всасывающий всхлип. Тело её на мгновение выгнулось и застыло.

– Поди прочь, – сказала она чужим, словно затвердевшим голосом.

– Да я, собственно...

– Прочь, я сказала! – голос был чужой и враждебный. Он проникал в сознание не прямо, а какими-то окольными путями. – Иди! Там твоя электричка. там – всё. Пока не поздно!..

Она повелительно вытянула руку, не оборачиваясь, и Хакимов повинувшись встал и едва ли не на цыпочках подошёл к двери и вышел.

* * *

«Шуган, Шуган, дуракам капкан», – напевал он, шагая по тёмной, до чернильной густоты улице. Шаги в этой гуще вязли так, что он их вовсе не слышал. Не горело ни одно окно, и только там, на платформе, раскачивался и ржаво лязгал на ветру одинокий фонарь. Вот она, будто и не исчезала никуда вовсе. Так что наваждение заканчивается. Сейчас, просто не надо морочить себя загадками. Мы ещё успеем поразмыслить на это тему, не так ли? А потом просто посмеяться над страхами и догадками. И главное, – слава богу! никто этого не узнает *никогда*. Не идиот же он, в самом деле, чтобы рассказывать друзьям и партнёрам по бизнесу, как он несколько часов в мокрых трусах бродил по вымершему посёлку, сидел в развалившемся доме в обществе полусумасшедшей особы! Это он, Хакимов, сама респектабельность, владелец небольшой, но набирающей обороты фирмы, человек не самый последний в городе, разведённый холостяк, от одного взгляда которого, бывало, бабы таяли, как шоколадки на солнышке. Да ежели разобраться, у кого в жизни не было такого вот Шугана? Пусть он останется неприятным воспоминанием, от которого легко отделаться – достаточно зажмуриться и качнуть голову.

Шагалось легко, бодрила резкая сухая прохлада и смутная глубинная тревога. «Хоть собака залаяла бы что ли, – вдруг с отчаянной тоской подумал Хакимов, – всё-таки живое существо». Однако живыми были тут лишь тени деревьев, мечущиеся от света сумасшедшего фонаря, да монотонный шум листьев над головой. Хакимов не выдержал и обернулся. На мгновение там, где был дом под ивами, сверкнул и погас слабый огонёк. Показалось?..

* * *

Электричка остановилась плавно и бесшумно. И тогда полыхнувшая в груди шаровой молнией боль вдруг с безжалостной ясностью осветила – все чёрные закоулки разума. Он на миг осознал, *что* это был за дом, и *отчего* так странно переменилась женщина, и *что* он увидел в зеркале, и *что* происходит с ним. Да с такой ясностью, что замер он возле раскрывшейся, как створки моллюска, дверей электрички в трепете и нерешительности.

– Давай, давай, – раздался вдруг за спиною знакомый голос. – Аль расхотелось?

Словно упругой струёй тёплого воздуха всосало его в тамбур. Он через силу обернулся. На платформе стоял тот человек в зелёной фуражке.

– Ещё увидимся! Только не скоро. И запомни: Шуган по-нашему зовётся – Судьба.

Электричка тронулась. Та же струя втянула его из тамбура в вагон, белёсую коническую опрокинутую капсулу...

ЭПИЛОГ

– Ну и как там тот бедолага? Которого днём привезли.

– Да представляешь, выкарабкался. Пять рёбер сломаны, ключица в трёх местах, обе стопы. Ну, сотрясение мозга, ясно дело, черепно-мозговая. Гематомы нет, похоже, но шок болевой страшный. С селезёнкой что-то – пока не поняли. Плюс сильная кровопотеря. Полторы минуты пульс был почти нулевой. Прикинь, зажало мужику ногу дверцей электрички, а она тронулась. В общем, проволочло его полплатформы, метров пятьдесят. Жить, однако, будет. Да. А вот дамочка, та, что с Лебязьего привезли, померла минут десять как. Жанной звать. А фамилию забыл. Ну там-то сразу всё ясно было – перелом основания черепа, полный разрыв печени. Мальчишка, говорят, на встречу выпорхнул на велосипеде. Они свернули неловко и на скорости влетели в рекламный столб. Девчонка у неё осталась пяти лет. С ней была, кстати. Но у неё – так, ушибы. Мужа нет, так, хахаль какой-то, сосунок. Тот вообще, считай, не пострадал – лицо расцарапал, синяк на лбу. Зато обоссался, как щенок. Ты бы поглядел на него. Кричит, как зарезанный. «Идиотка! Чуть меня не угробила!» А когда её, как кровавый шматок, в Скорую заносили, даже не повернулся в её сторону. Всё с гаишниками собачился с мокрыми штанами. Потом поймал такси и домой. Сучонок, блин!

* * *

И тут появилась Жанна. Голоса стихли, словно она незримо отвела их рукой в сторону. Она подошла к нему, и он её видел – сквозь ватную и марлевую пелену, которая плотно застирала его глаза. Она была всё в той же клетчатой рубашке и в джинсах, правда, без очков.

– Ты жив, – сказала она. – Я это тогда ещё поняла.

– А ты...

– У меня мало времени. У меня осталась дочь, её зовут...

– Аля, я знаю. С ней всё в порядке. Она...

– *Пожалуйста, не перебивай. Странно, ведь я никогда не видела тебя и не увижу. Я даже не знаю, как тебя зовут, и не узнаю, просто не успею... не перебивай, пожалуйста! Но мне некому сказать это, кроме тебя. У неё теперь нет никого. Ну вот совсем никого. Так вышло, неважно почему. Ей пять лет. Будет в августе. Потом, когда всё это пройдёт, а это пройдёт, я точно знаю, ты её найди. Просто найди. Найди и скажи: меня просила найти тебя твоя мама. И она поймёт, что она не одна. И больше ничего. Ты найдёшь?*

– Найду, – ответил он совершенно беззвучно.

И тут, показалось ему, что-то шевельнулось в этом тёмном глухонемом мире. Он увидел себя со стороны, скомканного, распластанного, словно бескостного, раздираемого болью, затянутого в невыносимо тугий кокон, точно как в пыльном треснутом зеркале в том доме. Он увидел её, Жанну, сидящую чуть поодаль, глядящую на него с затаённой опаской и надеждой. Он понял: когда эта постылая ватно-марлевая скорлупа отслоится от него, вместе с ней отвалится, как короста, и вся его прошлая жизнь, в которой так много было фальши, цинизма, бессердечия, поганого душевного шлака. Отойдёт, как пропитанные желчью и гноем лохмотья. Он и не силился представить себе будущую жизнь. Она билась внутри него, будто зародыш во чреве кокона и почему-то походила на ту девочку, которую он ещё не видел, но которая обозначилась туманным абрисом.

– Ты придёшь еще?

– Нет. Больше никогда.

МАРИНА ПОЛУНИНА, Россия, Московская обл., г. Балашиха

Марина Владимировна Полунина родилась в 1977 году, закончила Литературный институт в 2004 году, журналист. Гран-при фестиваля «Мцыри», лауреат фестивалей «Витебский листопад», «Русский Гофман», «Большой финал», «Крымское приключение»

МОРЕ В ОКТЯБРЕ

Теперь, когда за много лет все размыло и схлынуло, я могу сказать, что всё-таки люблю Ялту. Теперь это уже не причиняет боли. И поэтому в сухом остатке эта любовь становится настоящей, сама собой. Как и город, который собой становится лишь в конце октября, когда холодно и промозгло, и с набережной сбегают последние курортники. Когда небо становится тоскливым и хмурым, а море – гневным, беспокойным, больным и тёмно-серым. И только я знаю, если зайти далеко на пирс и посмотреть вниз, там – абсолютно прозрачная, безмятежная, бездонная вода, сквозь которую просвечивают изумрудные водоросли и мелькают безмятежные блестящие рыбки. Но это знаю только я.

Хотя я всегда знала и то, что уеду.

И всё, что от такой любви хочется – только напиток.

У других жителей города, я знаю, любовь к городу такая же. И именно поэтому в конце октября местные начинают пить. И, прошу, не надо осуждать их за это, не наше и не ваше это дело.

Тем более, что и я, мы, моя семья тоже никогда не были исключением.

Да и было это хорошо. А может, и единственным светом в конце туннеля оно было в те перестроечные годы, когда мы в Крыму часто жили без электричества, воды и еды. Зато вина была всегда очень много – его в отсутствии зарплаты люди выносили с Массандровского завода и продавали на каждом углу. И сладким своим, вязким, убаюкивающим сном в те холодные и голодные дни оно очень утешало.

Особенно хорошо бывало субботними вечерами, когда у нас дома собирались гости – мамы подружки с киностудии. Тогда вместо электричества в комнате зажигали пятнадцатисвечевый канделябр – позолоченный, огромный и неуклюжий – реквизит, оставшийся после съёмок какого-то фильма про гусаров. Из серванта доставали чешский хрусталь. От сияния свечей он сверкал, заходясь всеми гранями. И в этом свечении и мерцании мамы подружки, всегда надевавшие самое лучшее ради такого дела – кто шиньон, кто кружевное жабо, а кто брошь из чешского стекла, начинали напоминать мне цветы из сказки Андерсена про Снежную королеву – нарядные и взъерошенные разноцветные хризантемы. Осенние цветы с нежным запахом прощания и увядания, которые я больше всех других люблю до сих пор.

* * *

Все мамыны подруги были творческие люди. Все работали на Ялтинской киностудии. В то время в Ялте, впрочем, работать было больше негде. Хотя бы иногда платили только там. Особенно когда приезжали киношники. Особенно – из Москвы. Тогда выходило вообще «жирно», ведь можно было попасть в массовку. Вот там-то, все вместе изображая то толпу погорельцев, то толпу индусов, то нищих, то курортников, мы все и передружились.

Особенно везло тётё Тамаре. В юности она попала в автокатастрофу, где ей раскучило всё лицо. И теперь это неожиданно оказалось мощным козырем. Благодаря ему, ей всегда предлагали сняться не просто в массовке, а в эпизоде. Поэтому на счету тётё Тамары был уже с десятков ролей. В фильме про средневековье она сыграла прокажённую, которая хватает главного героя за подол. В фильме про индейцев – старого индейца, которого при подрыве тюрьмы убивает стеной. А в индийском фильме – сумасшедшую, из-за которой главный герой падает с коня. Тётя Тамара с такой готовностью бросалась в каждом дубле под лошадь, что это до глубины души впечатлило индийского режиссёра, и он лично ей выписал дополнительный гонорар. Тётя Тамара, однако, сделала бы это и без всякой мзды – просто она очень любила индийское кино. Вся её квартира была завешана фотографиями Митхуна Чакраборти, а фильм «Танцор диско» она смотрела сто раз, и знала наизусть.

– Джимми, Джимми, ача, ача! – кричала тётя Тамара, когда я заходила домой. Пока я добиралась до дому, в ней обычно уже было полбутылки кагора.

– Замолчи ты уже, старая карга! – обычно шипела на неё в этот момент тётя Лида.

Я знала, что тётя Лида недолюбливает тётю Тамару из-за профессиональной зависти. Тётя Лида была старой девой из потомственных дворян и очень гордилась этим. В молодости она была хороша, и за это однажды её портрет нарисовал, как она говорила, «очень талантливый, но очень недооценённый художник». На портрете, который висел на стене в гостиной её очень бедной квартиры, юная тётя Лида была изображена в профиль. Он потрясал аристократизмом. Эту свою сильную сторону тётя Лида знала, поэтому каждый раз, снимаясь в массовых сценах, она пыталась поймать миг удачи, выследив режиссера и подойдя к нему боком. Но, как назло, её никто не замечал. А один режиссёр так и вовсе ухитрился на бегу споткнуться об тётю Лиду, за что страшно и грязно обматерил её, после чего тётя Лида совершенно разочаровалась в современном кинематографе. Но сниматься в массовке с голодухи всё же приходила.

Ну и обидней всего было, конечно, за тётю Валерию. Вот от кого отвернулась удача! Ведь королевой эпизодов раньше всегда была она. Точнее – они. Вместе со своей сестрой-близняшкой тётёй Глафирой. Двух одинаковых на лицо старушек очень любили снимать заезжие режиссёры, а однажды им даже досталась невиданная роскошь – мини-роль! А заплатили за неё столько, что тётя Валерия и Глафира купили себе цветной телевизор. Но потом случилось

непредвиденное. Пару лет назад в тётю Глафиру во время променада на набережной влюбился капитан дальнего плавания на пенсии из Новороссийска, сделал предложение и увёз к себе. А вместе с ней – удачу тёти Валерии, которая с тех пор так и не простила сестру, хоть та совершенно безвозмездно оставила ей цветной телевизор. Для прощения, однако, этого было мало.

* * *

Однако, несмотря на то, что у тёти Валерии был телевизор, собирались всё же у нас. А всё потому, что у нас дома был гораздо более сильный центр притяжения – моё пианино.

Пианино же это было совершенно особенное. В нём была какая-то тайна. Во-первых, такая, что из всей нашей семьи на нём никто никогда не умел играть. Ни покойная бабушка, ни мой спившийся и живший в бараче на соседней улице дядя, ни мама. Но вот факт – пианино в нашем доме было всегда. Чёрт знает с какого года. Хотя, может быть, знаю и я – «1927» было нацарапано на внутренней стороне его крышки каким-то острым предметом. Может быть, и было это правдой, т.к. пианино было страшно трухлявым. Оно постоянно несло что-то не то. Это тройне раздражало меня, тем более, что заниматься на нём меня заставляли помимо моей воли. Ни хорошим слухом, ни музыкальным вкусом я не обладала: это признавали все, а в музыкалке так и вовсе не высказал мне за это только ленивый. Пианино же, постоянно издававшее фальшивые звуки, многократно утяжеляло задачу учить ненавистные этюды. Однако, не смотря на мои истерики, мама продолжала упорно водить меня в музыкальную школу. И, наконец, главное. Пианино не просто фальшивило – оно бессовестно врало! И поняла я это очень рано, ещё в самом нежном детстве. Едва научившись читать. «Красный октябрь» – вот что было написано маленькими золотыми буквами над чёрной крышкой!

– Какого чёрта написано «красный», если оно – чёрное?! – орала я на весь дом.

И не было ответа на мой вопрос. Никогда ни у кого не было.

Но вот чудо. Когда в нашем доме субботними вечерами собирались нарядные бабушки, именно это столь ненавистное мне пианино в один миг делало меня звездой! Ведь играть-то на нём умела только я!

– Давай «Не уходи»! – заказывала тётя Валерия.

– «Он говорил мне: стань ты моею», – с достоинством сообщала тётя Лида.

– «Сияла ночь»! – с посвистом выкрикивала тётя Тамара. Её фактурную внешность эффектно дополнял отсутствующий передний зуб, из-за которого на каждом слове, где была буква «с», она свистела, как соловей-разбойник.

И я по очереди начинала играть все заказы, постепенно заражаясь ролью тапёра в старом кинотеатре, который сам стал частью кино. И тени от свечей плясали на стене, и вино мерцало рубиновым и янтарным блеском в бокалах, и занавеска трепетала от ветра, пробивавшегося сквозь оконные рамы, и лился

тихий хор голосов, среди которого всё больше начинало выделяться особенное «ууу-уууу-ууу». Это приходила, пристраивалась под канделябр и начинала петь со всеми наша маленькая чёрная собака Дездемона, которой, кстати, тоже всегда наливали вина – в пробку от пластиковой бутылки.

– Отцвели-ууу-уж давно-ооо хризантемы-ууу в саду-ууу...

Так примерно всё это выходило.

* * *

И только в тот день, чёрт знает почему, что-то пошло не так.

Когда я вернулась домой, в комнате, такой тёплой и уютной в прежние вечера, как прокисший кисель, висело неприятное напряжение. Все молчали.

Ничего хорошего не жди, когда люди пьют вино молча. Это всегда нехороший знак. Так и вышло.

О том, что случилось, мне рассказала мама, под каким-то предлогом утащившая меня на кухню. Оказалось, дело было в том, что в новом фильме тёте Тамаре внезапно дали роль. И даже не эпизодическую, а второстепенную. С весьма приличным гонораром, которого хватило бы даже на три цветных телевизора. Но всё бы это было ничего, если бы это не была роль... аристократки. Тёте Тамаре предстояло сыграть главную героиню в старости. Сюжет же рассказывал о любви, которая пережила революцию и войну. И вот в финале героиня продолжает ждать героя. Стоя на берегу моря, она вглядывается в пасмурную осеннюю даль, стирая скупую слезу, и ждёт, ждёт.

Всё это воплотить и предстояло тёте Тамаре. Контракт с киношниками был подписан, и даже костюм сшит. Но ужас, самый ужас ситуации состоял в том, что просматривались на эту роль они одновременно с тётёй Лидой. Причём вместе дошли до последних проб. И вот злой рок!

– Режиссёр выбрал Тamarку! Сказал, лучше всё-таки этот типаж, больше подходит! – шептала мне мама в ухо на кухне. – Ох, подерутся!

И точно. Когда мы вернулись в комнату, воздух там был страшно наэлектризован. Самый сильный разряд проходил между тётёй Тамарой и тётёй Лидой, которые буквально испепеляли глазами друг друга.

– Ну что, девчонки, может, споём? – попыталась спасти ситуацию я, но прозвучало это как-то дебильно. Тем более, что ещё и никто не ответил.

И вдруг...

– А чего ж не спеть?! Я спою! – вдруг с вызовом и почему-то фальцетом выкрикнула тётя Тамара. – Мне ж в роль входить надо!

И тут же без предупреждения запела.

Соло это, признаться, было ужасным. Просто как никогда. Тётя Тамара возопила настолько громко, визгливо и фальшиво, что я даже не сразу поняла, что поёт она романс «Гори, гори, моя звезда». Но осознать это понимание мне уже не довелось. Потому что тут случилось страшное.

– Сейчас я тя потушу, грёбаная звезда! Чтоб ты совсем сгорела! – вдруг крикнула тётя Лида и внезапно выпрыгнула из кресла в позу фехтовальщика,

наносящего роковой удар. Только в руке при этом у неё был бокал из чешского хрусталя. Полный вина, конечно.

Я инстинктивно шагнула по направлению к фехтовальщице и вдруг... наступила на что-то мягкое.

Мягкое взвизгнуло. Дездемона! – осенило меня. Но было поздно.

БАМММ!!

Страшный удар будто встряхнул комнату. Нет, уж на какие только дурные звуки было способно моё пианино, а таких, как этот, от мощного удара моей головы, оно ещё не издавало. Вот и всё, что я успела подумать перед тем, как потеряла сознание. Ну и ещё – увидеть кривое лицо тёти Тамары, по которому всё ещё стекали густые кроваво-красные струи кагора.

Когда через несколько минут я пришла в сознание, надо мной рыдали Валерия и... Глафира.

– Ура! Вы помирились! – пролепетала я и вновь потеряла сознание, ещё не понимая, что никакой Глафиры в комнате не было. Просто в глазах моих двоилась тётя Валерия – симптом сильнейшего сотрясения мозга, от которого мне потом пришлось лечиться целый год.

* * *

Теряя в одном месте, находишь в другом.

Пока ждали скорую, зачем-то я всё же села за пианино – поиграть с горя помирившимся тётушкам. Одна клавиша теперь западала. И я полезла под крышку – посмотреть, что случилось. Под молоточком запавшей клавиши лежала бумажка. Я достала её. Это оказалась малюсенькая жёлтая от времени фотография с резными краями. На ней улыбался молодой мужчина в гимнастёрке, с очень светлыми глазами и ямками на щеках. Такими же как у меня.

Так и вышло, что я узнала историю своего деда. О нём в доме не говорили и не хранили фотографий. Эту, видно, спрятала бабушка, приклеив внутри пианино.

Теперь, когда я припёрла её с этой фотографией, мать рассказала мне про деда всё. Из чего стало понятно, почему о нём не говорили и не хранили дома фото – дед был, конечно, враг народа. Понятно, однако, стало и то, почему его образ не ожил и в перестройку, когда только ленивый не гордился своим реабилитированным предком. До ареста дед был начальником всех крымских тюрем. Беззаветно веривший делу революции, безродный подкидыш, свою блестящую карьеру он сделал к 30 годам, а уже в 32 – лишён права переписки. Мать была тогда совсем маленькая, и почти не помнила его. Хотя бабушка брала её с собой в тюрьму к отцу – попрощаться.

– Я помню только его руки, – сказала мама. – Он протянул их сквозь решётку, чтобы погладить меня по голове. И я увидела, что на них сорваны ногти. Подумала тогда: как же теперь он будет играть?

Так мне открылась тайна пианино – оно было дедушкино. И до меня на нём играл он. Чему, кстати, не учился – был самоучкой. Этого – жажды жизни, познания и величайшего сопротивления – у него было не отнять. Во-первых, не смотря на сорванные ногти, дед не подписал в НКВД ни одной бумаги. А во-вторых, в лагере он толком и не пробыл. Началась война, и дед попросился в штрафбат – это был единственный способ уйти из лагеря на войну. И он выбрал его, и воевал ещё год – до самой Курской битвы, где погиб в чине капитана.

Всё это маме рассказала бабушка, которой дед всё же передавал вести о себе. Пока мог.

* * *

В последний раз я сыграла на своём пианино, когда после смерти мамы продала квартиру. У меня был день перед отъездом. И отъезд этот был очень похож на смерть. Точнее, на переправу на тот свет, куда ничего не заберёшь с собой. В Москве меня ждала работа с серой зарплатой и угол в съёмной квартире. И в этот угол я тоже ничего не смогла бы с собой забрать из дома. Поэтому все вещи – ковры, мебель, чешский хрусталь – я попросту раздала. Не смогла пристроить только пианино – оно оказалось никому не нужным. Поэтому в опустевшей квартире осталось одно. В последних лучах весеннего солнца я пила вино, играла на нём и плакала. И оно звучало так, как будто понимало, что мы прощаемся навсегда. Громко, чисто и как-то гулко. А может быть, этот звук создавали стены абсолютно пустой квартиры.

Потом я уехала.

Дальнейшую же судьбу моего «Красного октября» мне рассказали знакомые.

Новый хозяин квартиры попросту выставил его на улицу. Там, около подъезда оно достояло до самой осени. Дети от нечего делать лупили по его клавишам, ветер перебирал струны. К середине же осени оно полностью рассохлось. И, наверное, просто развалилось бы, если бы не мамины подружки – тётя Тамара, тётя Лида и тётя Валерия. В ту осень они снимались в массовке какого-то фильма, на съёмках которого понадобился рояль. Тут-то бабушки сумели прорваться к режиссёру и рассказать ему – о мои говорящие увядшие хризантемы! – о никому не нужном старом пианино, умирающем на улице в одном из горных районов города. В тот же день к нашему дому приехали киношники и погрузили пианино в фургон. Больше никто из соседей его не видел.

Но... Полгорода-то ведь ошивалось на киностудии...

...Сцену эту снимали в конце октября. Пианино погрузили на паром и поплыли в открытое море. Репетировали без реквизита, снимать планировали с одного дубля. В нём главный герой должен был столкнуть пианино в море. Но – видно всё-таки у моего пианино была такая карма – опять всё пошло не совсем по плану. После того, как прозвучало «Камера! Мотор!», вдруг оно... закричало. Видимо, от порыва ветра в щелястом, рассохшемся деревянном

ящике порвалась толстая металлическая, обмотанная медной проволокой струна. Люди на пароме оторопели, не понимая, что происходит. И только быстро сориентировавшийся актёр спас ситуацию. Ни дрогнув ни одним мускулом лица, он, как это и предполагалось, столкнул пианино в воду. И даже режиссёр признал, что так вышло даже трагичней – вместе с этим «криком» кадр вошёл в фильм. И... в мою память, где я на бесконечной перемотке вновь и вновь смотрю, как моё пианино уходит под воду. Как, всхлипывая, море наполняет мой «Октябрь», и он навсегда исчезает в пучине, прозрачной и безмятежной, из глубины которой просвечивают изумрудные водоросли, да изредка блеснёт одна-другая маленькая рыбка.

...Как печальные и светлые блики нашей памяти...

...Как извечный её вопрос – простим ли мы друг друга?..

ЕЛЕНА КРЮКОВА, Россия, г. Нижний Новгород

(Лауреат в номинации «Абсолют»)

Родилась в Самаре, на Волге. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия). Лауреат десятка литературных премий. Публикуется в литературно-художественных журналах России («Дружба народов», «Знамя», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга», «Бельские просторы» и др.). Автор книг стихов и прозы. Член Союза писателей России.

Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ

Как я сюда попал, в Иерусалим, даже сейчас не могу понять. Всё сошлось как-то чётко и враз, все звёзды. Ну да я же такой, сам Серафимушка мне брат, а Матушка Господа мне матушка, и это я без зазнайства говорю, а просто правду говорю. Правду говорить легко и приятно, кто-то сказал, я где-то услышал это выражение.

Мой друг Родя Волокушин появился, вырос, как гриб из-под земли, мотается у меня на пороге: «Андрюха, два уха! Что киснешь тут, дитя подземелья! Я спонсора тебе нашёл, он твои картины хочет купить, я ему фотографии показал, он говорит, это духовная живопись! И сам мужик такой, знаешь, духовный! От тебя, умоленного отшельника, недалеко ушёл! По святым местам шастает, в святых источниках купается! И знаешь, что он мне ещё сказал? Что хочет тебе сделать сюрприз! Какой-то, ёлки зелёные, сюрприз! И вроде сейчас не новый год, а, Андрюха?! Не время вроде для подарков?!»

Пришёл этот богатый человек. Спустился ко мне в подвал, хромая. Сильно хромал, на одну ногу крепко припадал, да ещё и волок её за собой. Я постеснялся его спросить, что с ним; родился он таким или покалечился; мне потом Родька сказал, он в авиакатастрофу попал, самолёт падал на деревья, на лес, многие погибли, единицы остались в живых, вот он остался. Самолет развалился на куски. Мужик этот вцепился в ель и сидел на ветке, над тайгой это было, а потом устал, измучился и свалился на землю, и сломал ногу. Его чудом не съели волки. И чудом нашли спасатели. Все на этой земле кого-то спасают. Один топит другого, убивает, а третий его спасает. Вот вся наша жизнь.

Всё наше чудо.

Богатый хромец надменно ткнул пальцем в мои холсты: «Вот этот мне! Этот! И этот!» Чуть не сказал: «Заверните!» И выбрал же, чёрт, «Безмолвную», «Ангела» и «Матушку», самые дорогие моему сердцу работы. Он стоял с вытянутым указующим перстом, а я спросил своё старое сердце: сердце, ты не будешь скучать по этим холстам? Не будешь тосковать? По портрету кришнаитки Лены, по Матери Господа моего, по золотому ангелу моему

хранителю? И чакра анахата так отвечала мне: никогда не тоскуй, никогда не страдай. Всё уплывает, уплывёт и это. И сам ты уплывешь по водам времени в лёгкой лодке навстречу любви. Люби и отдавай всё своё с лёгкостью. Я улыбнулся богатому хромоту человеку и сказал ему: «Денег не надо».

Он очень удивился. Просто опешил, молча стоял, как столб. «Как это не надо?» – растерянно спросил он. Он, наверное, подумал: я полный придурок. Живу в нищем подвале, глодаю сухую корку, и денег не надо мне? Что-то тут не так. «Так, не надо, и всё», – развёл я руками. «Нет, вы возьмете деньги! Обязательно! Иначе я уйду и больше не приду!» Кажется, он всерьёз разобиделся. Деньги, ведь это их, богатеев, родной язык, они все говорят на языке денег. А я этого языка не знаю. Мы с ним как два иностранца. Стоим друг перед другом и объясняемся жестами. И он передо мной пальцы веером разводит, а я ему кланяюсь, сложив руки на груди. Мы две планеты. И никогда мы не столкнёмся в ночном чёрном небе.

«Ну раз вы денег не берёте, – выпятив губу, говорит он мне, – тогда я вам делаю подарок. Вы, – говорит, – духовный человек, и я тоже духовный. Повысьте свою духовность. Вот вам билет в Иерусалим, на явление Благодатного Огня в храме Гроба Господня, иначе Воскресения. Вы никогда не были в Иерусалиме на Пасху? Вот, значит, побываете». И вынимает из кармана билет на самолёт, и мне суёт. И я беру, а что мне ещё остается делать?

Родька Волокушин помог мне перевязать крест-накрест картины, чтобы удобнее было в машину грузить. Машина у хромого богатея отличная, «Лексус», такой мощный джип. Никогда уж мне на такой машине не покататься! Да и если бы я вдруг непомерно разбогател и купил её, как мне, старому грибу, сдавать на права? Зрения уже нет совсем. Слепну, и даже яркие краски не спасают. Перестаю видеть мелкие детали. Зато Третий Глаз работает вовсю. Вижу много чего. Да не каждому говорю. Молчать тоже надо уметь.

Погрузили мы мои работы, уехали они навсегда, вернулся я в подвал, а там под чайником свёрток лежит. Разворачиваю – доллары. Целая пачка толстая. Я их впервые увидел так близко. Волокушин ржёт. «Что, испугался?! Ну всё, теперь ты до конца жизни обеспечен, старик! Живи и в ус не дуй!» Я протянул пачку денег Родьке. «Может, тебе они нужнее, чем мне?»

Родя повертел пальцем у виска, кинул пачку на мой грязный стол, поближе к горячему чайнику и оплывшей свече, и убежал сломя голову. Бежал и хохотал. Надо мной.

Я доллары эти все отдал дочке моей Софочке и внукам своим. Себе малость оставил: на пропитание и на курево. И на кофе.

Кофе в моём возрасте пить много нельзя, и курить много нельзя: мне сказали, инфаркт будет. Сосуды слабые уже. А я думаю себе: ну, пока меня не пристукнуло, ещё посмакую кофейку, ещё покурю. Подымлю и почмокаю. Слаб человек, одной ногой в могиле, а всё хочет наслаждаться, дрянь такая.

И вот я здесь, в Иерусалиме, и стою в храме Гроба Господня. Сегодня Страстная Суббота. А завтра Воскресение Господне. Пасха. Народ в храм набивается, всё прибывает. Сюда трудно попасть, вход по особым билетам. У меня такой билет с собой имелся, мне хромец его дал, вместе с самолётным.

Люди входят. Люди втекают. Толпятся, охают, вздыхают. Кто-то забрался на плечи друзей, это эфиопы, а может, арабы, у них лица чёрные и потные. Мужики сидят на шеях других мужиков, кричат и бьют в бубны. Цирк! Люди встают всё плотнее, и всё жарче во храме. Мне тоже жарко. Голова кружится. Мне бы пора пить таблетки и с собой их носить; я слишком беспечно к себе отношусь. Пусть будет всё, как Бог решит! Ведь Он меня с небес видит. И теперь видит. Мою немощь, мою болезнь и слабость. И силу мою видит.

Странные голоса, толкотня, смутное пение, тёмные фрески по стенам. А может, это ожившие фигуры тех, кого давно на свете нет? Голоса звучат. Я слышу голоса. Тёмное, дальнее пение. Идут тёмные печальные монахи, поют о том, как Иисус спускается в ад. Смелость надо иметь, чтобы сойти в ад! И я себя спрашиваю: а ты смог бы? Ты бы – отважился?

Важный человек в простой рубахе движется сквозь толпу. Толпа расступается. Люди жмутся друг к другу, как дети. Прижимаются друг ко другу локтями, животами. Я слышу, кто-то рядом говорит по-русски: «Это патриарх Иерусалимский, патриарх, глядите! Он в одном полотняном подряснике!» Я понимаю, почему он в одном подряснике. Это чтобы все видели, что у него с собою нет ни спичек, ни зажигалок, ни кремня и огнива, ни тряпки, облитой бензином. Он не может зажечь Огонь. Человек не может зажечь Огонь. Только Бог.

А человек, ссутулившись, смиренно входит в маленькую кувуклию, в каменный тесный гроб, чтобы там, внутри, в крошечной тьме, умереть – перед явлением Света: перед Воскресением.

Меня теснили ближе к кувуклии. Внезапно погас свет. Мы все, паломники, молеельщики, оказались в густой и страшной тьме.

Страх, настоящий страх. Это страх перед рождением. И перед гибелью. Мне сказали: если Огонь не сойдёт, Землю ждёт скорая гибель, и все в храме тоже погибнут. Сердце моё стукнуло раз, другой и перестало стучать. Как у ламы Итигэлова. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Господи, взмолился я, я так грешен перед Тобой! Мой грех может перевесить на чашах Твоих весов. Прошу, прости мне мой грех! Я лукавил перед Тобой, я негодовал и насмеялся, я ругал ближнего и обманывал себя. Прости мне, если можешь! Но Ты же всё можешь!

Густая тьма пахла имбирём, корицей и кедровой хвоей, немного лимонной цедрой, немного розовым маслом. Она пахла Востоком, Иисус ведь жил на Востоке, он, Бог, в бытность Свою человеком сполна вкусил Восток, его пасхальных ягнят и его пресные лепёшки, его танцы живота и его песчаные бури. Он раскусил Восток, как сладость, как спелую смокву. Тьма, и очень страшно. Это ли страх смерти? Да ведь в эти минуты, здесь и сейчас, мы все уже умерли; чего же ещё страшиться?

Да, вот так там и будет, по ту сторону жизни, думал я тогда, стоя в толпе, стиснутый людьми, в тепле их дыханий и задыханий, в потустороннем поту их рук, шей и лбов. Моё лицо тоже было всё мокро. Плакал ли я? Помню, что молился. Хотел вытереть с лица пот и не мог – руки мои были с обеих сторон зажаты чужими телами. Чужими? Родными! Разве все мы тут не были любимые, бедные дети Божьи?

Тьма. Медленно, раз в минуту, бьётся сердце. Я не хочу считать его удары. Вокруг меня, за спиной и впереди молчат и дышат люди. Они ждут. Мы все ждём. У всех шевелятся губы. Все шепчут. Все молятся. Молюсь и я. Что значит моя крохотная молитва перед огромной, во весь храм величиной, во всю Землю величиной, всеобщей молитвой всех людей? Всех, кто верует и любит?

Единое во множественном, и множественное в едином. Из таких малых молитв складывается общая, святейшая. Складывается мольба о спасении. Не сегодня! Не завтра! Боже, пожалуйста, отодвинь от нас гибель! Пронеси мимо нас чашу сияю!

Во тьме заиграли нежные сполохи. Еле видные молнии ударяли людям в плечи и затылки. Их головы обнимали призрачные нимбы; они слабо светились, вспыхивали и таяли. И снова наваливалась тьма. Я задыхался. Тьма забила мне лёгкие. Я ловил ртом воздух, как рыба, вытащенная из моря на берег. Люди задышали громче, тревожней, прерывистее. Я едва не терял разум. Господи, не дай мне сейчас умереть! Я ещё хочу увидеть Твой Огонь! Я ещё хочу жить! Жить! Господи, во Имя Твоё!

Огненные змейки юрко и быстро ползли из-под купола, сползали по стенам. Гасли. Ни шёпота. Ни стоны. Все задавили, затоптали внутри себя своё страдание. Сейчас здесь не было никакого людского страдания, никакой скорби, никакого плача. Я будто поднялся над полом, завис на минуту, а потом стал медленно подниматься к куполу. И из-под купола я видел и чувствовал всех. Я слышал, как молятся старухи монашки. Видел, как текут слёзы по потному, смуглому лицу араба с серьгой в мочке огромного волосатого уха, и он волосатой мощной рукой оттирает солёную влагу с подбородка, со скулы. Я слышал эти слова, потому что я их сам повторял: Господи, не оставь нас. Господи, не покинь.

А ещё думал: надо б помолиться мне за сынка моего Юрочку, что в тюрьме сидит. Избили парни мужика прохожего, ограбили, а среди тех парней Юрочка мой был; а мужик тот мимохожий чуть не умер, еле выжил. Всех изловили и посадили. Я Юрочке теперь письма пишу каждый день. Мысленно. И на бумаге тоже. Потом бумагу вчетверо складываю, и никуда не отправляю, ни в какую тюрьму. Господи, и Юрочку моего не покинь!

Тьма вся пропиталась этими нежными, еле видными вспышками, зигзагами света, что был лишь воспоминанием о свете. Может, нам одна лишь тьма и осталась, а света больше не будет никогда. Не станет! И мы во тьме, слепые, протянув вперед руки, побредём по земле, лишённые солнца, лишённые огня и счастья, и будем хвататься друг за друга, и будем ощупывать мокрые лица друг друга, повторяя: «А помнишь?.. А помнишь?..»

Тьма колыхалась и густела. Уплотнялась. Сквозь неё уже нельзя было пройти, не изранив кожу, не сломав руки и ноги, не разбив упрямый голый лоб. Тьма обняла нас всех. Крепко обняла. И одна лишь молитва осталась на пересохших солёных губах – молитва о чуде, молитва о Свете.

Свет! Милый! Мы больше не будем. Мы не виноваты. Мы исправимся. Мы снова полюбим. Мы больше не убьём. Не обманем. Ты только приходи. Явись! И мы, люди Твои, станем другие! Совсем другие! Милый Свет, ты же видишь, на самом деле мы хорошие! Мы просто заблудились во тьме. Мы заблудились и ошиблись, мы не поняли Тебя, мы слишком рано ослепли и не поверили в то, что прозреем. Свет! Родной! Радость! Радость наша! Радость моя! Сойди! Только сойди, счастье, единственное земное наше, бедное счастье, сойди, слышишь!

Под куполом будто открылось круглое окно. И из окна этого вниз упал прозрачный, чуть голубоватый столб. Внутри столба весело плясали золотые искры.

В этот миг распахнулась дверь кувуклии.

И, крепко держа в обеих руках толстые пучки белых длинных свечей, из чёрной двери каменного гроба вышел патриарх. Он высоко поднял над собой Огонь.

Это горел Благодатный Огонь.

«Агиос Фос! Агиос Фос!» – закричали кругом люди по-гречески, и по-латыни закричали, и по-арабски, и по-эфиопски, и по-английски, и по-сербски, и по-грузински, и по-русски, да, я услышал рядом с собой хриплое, ликующее: «Благодатный Огонь, ура, сошёл, Господи, спаси люди Твоя!» Из окошек кувуклии высывались пучки пылающих свечей, и их подхватывали люди и быстро передавали из рук в руки; свет, что падал из отверстия под куполом храма, все ярчел, столб света наливался ярким, торжествующим золотом, и я, вот чудеса, оказался прямо в этом столбе света – в круге Света, рядом с гробовой кувуклией, рядом с белобородым патриархом с неистово сияющими глазами, с поднятыми над головой руками, и в каждой руке мощно, победно горит свет, рвётся из рук, и тьмы больше нет. Где тьма? Нет её!

И вот уже по всему храму горит Огонь, люди передают его из рук в руки, возжигают от Огня свои, загодя припасённые свечи, мажут огнём себя по лицу, по рукам, окунают в Огонь лбы, брови и волосы, а он не жжётся, он не обжигает, не сжигает, он сейчас жизнь, а не смерть! «Ещё зажётся... слава Богу... спасены...» – слышал я шёпот рядом и не мог оглянуться. Я смотрел на Огонь. Зрачки мои стали Огнём, ладони мои и плечи мои стали Огнём. Я с радостью сгорел бы в этом Огне, полностью превратился в Него, остался Им навсегда. И это была бы лучшая участь.

И все, кто стоял во храме и сжимал в руках, в кулаках пылающие свечи, молились об этом: мы станем Тобой! Живым Светом! Мы готовы умереть, мы больше не боимся смерти, если за её порогом Ты, Живой Огонь! Мы поняли, Ты изначален, всё началось Тобой и в Тебя же вернётся. Огонь, Ты и есть Христос Бог, это Ты Его дыханье, Его глаза и Его объятие! Каждый из нас может

обожиться, становясь Тобой, Агиос Фос. Не отвергай нас! Обними нас! Благослови нас!

Святой Свет – против Гибельного Пламени.

Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Это я смутно вспомнил какие-то бредовые, старинные слова – то ли из церковной книги, то ли с какой церковной службы, на которой я стоял когда-то давно, а батюшка шёл во храм по кругу, тяжело ступая по каменным плитам, и махал перед носом у меня пахучим, дымным кадилом. Да, где твоё жало, проклятая смерть? Свет заливал храм. По лицу патриарха Иерусалимского текли слёзы и вспыхивали огнями. Все водили в воздухе пучками свечей, махали ими, пили и целовали Огонь, и у меня в руке невесть откуда взялся такой же пук тонких белых, длинных свечей, какие и все держали, и кто-то поднёс к моим свечкам пламя и возжёт их, и они занялись как маленький костер, вспыхнули весело и бесповоротно, и горели бешено, вольно, пламя взметнулось слишком высоко, пыхнуло, раскрылось ярким веером, ударило мне в лицо, я раскрыл губы, как для поцелуя, и вдохнул Огонь, и не почувствовал ожога, а только чистое, светлое, огромное счастье. Люди, хотел я крикнуть, глотая огонь, окуная в него щёки, губы, плачущие от радости глаза, люди, вот так целуйте и любите друг друга, как целуете вы сейчас этот Огонь! Вы, каждый, друг для друга – Агиос Фос! Так что же вы притворяетесь, что вы все злые, гадкие, хитрые, склочные? Вы изначально безгрешны. Вы – Свет! Не тьма!

Я окунул в Огонь ещё раз лицо, лоб и щёки и высоко поднял его над головой, и смеялся, не стыдился скалить в смехе беззубые свои, старые челюсти. Всё пылало. Всё ликовало. Всё стало внезапным и ярким счастьем. И теперь его было у людей не отнять. Не отобрать так просто. Все вцепились в него, в своё пылающее счастье, и высоко, ещё выше, выше поднимали его, чтобы все его увидели – и те, кого нет здесь, и те, кто далеко, и те, кто умерли уже и лежат под землёй во тьме. Я встал на цыпочки, чтобы поднять мой Огонь ещё выше. И тут что-то случилось с огнём, с храмом, с миром и со мной.

Я стал видеть сверху сначала купол храма, горящего торжествующим огнём; потом крыши и купола огромного города Иерусалима, грозные весенние тучи над ним, потом земля странно, громадно выгнулась, и я видел этот мощный выгиб земли, кромку густо-синего, мрачного моря, ржавые шкуры лесов и старое сыпучее золото пустынь, и бронзу грозных, кучно стоящих гор, и земля то сдвигала свои плоские плиты, то раздвигала, кренилась набок, и тогда я падал вместе с ней и не знал, за что ухватиться, чтобы выжить, спастись; я видел смещение и шевеленье огромной, дикой суши, человек её только снаружи изгрыз, как мышшь, а внутри она была всё такой же мощной и сильной, и великой, и страшной, как от сотворения мира. Колыханье пространств сотрясало воздух, и воздух вспыхивал и гас, воздух, играя, становился то светом, то тьмой, солнце падало в чёрный прогал, звёзды ныряли в ясную синеву, всё мешалось и проникало друг в друга; я видел дышащий космос, я, маленький человек, и страшно мне было. И крикнуть я не мог, мне горло

сдавило молчаньем, последней молитвой; я мог лишь раскинуть руки и плыть, плыть в жидких пылающих слоях неба, над руинами земли.

Передо мной летели люди, и надо мной летели люди, и за мной. Они все держали в руках ярко горящие свечи. Вязанки свечей пылали, и лица людей горели ярче пламени. Между людьми летели кони, они весело ржали. Летели свиньи и козы, индюшки и цесарки, летели павлины и распускали радужные хвосты. Рушились царства, и летели, срывались в пропасть камни и апсиды дворцов, хворост хижин, срубы распадались на бревна, и чёрные бревна летели в пустоте, вспыхивали и горели, горели в чёрном неохватном небе. Летели дети, они орали от страха, летели выпавшие из печей горящие головни, и летели трупы, сожжённые в печах для многолюдных казней, и летели задушенные, синие люди, кто задохнулся газом в убийственных машинах-душегубках, и летели разрубленные пополам, обезглавленные, сожжённые на кострах; и, пока они летели, раны их срастались, искалеченные члены на глазах заживали, обгорелая кожа, вся в рубцах и шрамах, менялась на новую, гладкую и свежую, и прозревали слепые глаза, и тянулись вперёд сломанные, изувеченные руки. Они летели, звери и люди, камни и звёзды, и все они искали в бездонном небе Того, Кто будет их всех судить последним Судом – или, может, прослезится при виде их, протянет им руки для объятия, а губы для поцелуя, обнимет, прижмёт их к сердцу и обласкает, – а они уж и не верят в это, они уж забыли, что такое прощение и милость!

Вот это картинку я видел в храме Гроба Господня, всем картинам картину!

Мне такой никогда не написать.

Это можно только увидеть. Ну, немного рассказать об этом.

Не всё, в общем-то, можно рисовать. Кое-что рисовать и нельзя.

«Милости хочу, а не жертвы!» – как в бреду, шептал я сам себе, а может, шептал это моему Богу, Он сегодня опять воскрес, возродился, Он послал мне и всем нам Благодатный Огонь, и за это одно, за сияние это, за могучее горение этого Огня я готов был пойти за Ним в огонь и в воду, трудиться и не изнемогать, готов был забыть всё, даже незабываемое, и начать всё сначала, и любить, всецело, всем существом и всей душой любить, даже если меня будут топтать и растопчут в грязь, в лепёшку за мою любовь, смешают мои кости и кровь с землёю и прахом.

Я летел в небесах с ними со всеми, с моими людьми, с моей земной несчастной живностью, с моей землёй, с моими руинами и иконами, и я молился так: Господи, я видел сушу Твою и море Твоё, землю Твою и небо Твоё, это Твоя Европа, это Твоя Азия, Африка Твоя и Америка, океаны Твои тихие и громкие, это Твои сироты, материки, каменные Твои плиты, что под дыханием Твоим сдвигаются с мест и плывут в никуда! Ты стоишь на материке, как на золотой льдине. Земля даст трещину, а Ты поднимешься над пастью ада и опять полетишь! Ты есть Свет, Тебя не поймать в мышеловку. За Тебя людям

отрезают головы. За Тебя расстреливают и сжигают. Почему нам надо, так неистово надо верить в Тебя?!

И сам себе я ответил, задыхаясь, летя в светящейся бездне: потому, что все мы, каждый, к Тебе, в руки Твои вернёмся!

И здесь, в этом древнем старом старике Иерусалиме, где тысячи тысяч людей рубились и любились, где крестоносцы побивали сарацинов, а сарацины крестоносцев, где мечи обжигали воздух и рассекали живые, твёрдые и тугие тела, как нож масло, где гудели по всему городу дикие пожары и, стоя на коленях, плакали, молились и хрипло орали одичалые люди, а людей бросали в костры, как доски, как брёвна, здесь, в нежном Иерусалиме, где много сверкающих под луной громадных яблок, дынь и апельсинов, в ночи спят мечети и минареты, золотые купола, алые, красные, медные гигантские гранаты, полосатые тыквы и терпкие жёлтые лимоны, бронза смокв, яшма тёмной райской листвы, здесь, где веками люди дрались и убивали, один другого, за свою единственную веру, мы стояли в храме Гроба Господня, глядя друг на друга, мы, последние христиане, и мы понимали: ещё прольётся кровь, ещё убьют нас за нашу веру, и мы убьём в ответ, и на пепелище кто-то из нас, кто победит, начертает крест, а может, полумесяц. Мы, в дни крестовых походов, бились за Гроб Господень, а теперь нам за что биться? Народы с Востока бегут в Европу, в Париже стреляет во французов мальчик из Дамаска, русский Василий становится арабом Батталом и едет в Новый Халифат, чтобы резать, как баранам, глотки пленным англичанам. Храм! Гроб! Огонь Божий! Ты видишь, Боже, никуда мы от Тебя не убежали, как ни старались!

И тут я вроде как мгновенно выпал из круговращения, из клубящихся диких ветров. Оказался опять на дне сверкающего огнями храма. Оглянулся. Огни горели. Золотые космы огней вились во мраке, как на ветру. Рядом со мной, по левую руку от меня, чуть сзади, стояла маленькая женщина. Голова её и лицо были укутаны в плотный чёрный платок. Я сперва испугался её. У неё не было носа. У неё не было век и бровей. У неё не было губ, вместо губ шевелилась безгубая страшная щель, прорезавшая бритвенным лезвием плоть.

У неё не было лица.

Я не сразу понял, что у неё сожжено лицо. Обожжено.

Глаза на том, что высывалось из-под чёрного монашьяго платка вместо лица, на поверхности огромного ожога, смотрели чёрно и скорбно. Век не было, они тоже были сожжены. Её глаза глядели, как у совы: кругло, мрачно, не моргая. Видно было, что хирург попытался слепить ей из её же кожи губы, пытался натянуть на слишком круглые глаза веки; у него не получилось.

Женщина глядела на меня чёрными, круглыми, как озёра, бездонными глазами, и я стал тонуть в этих глазах. И ещё больше испугался. Пук благодатных свечей горел в моей высоко поднятой, как у грозного ангела, руке. Я опустил руку и поводил косматым огнём около лица. Потом поднёс огонь к

лицу женщины. Она не отшатнулась. Но я увидел, как безгубый рот раздвинулся в уродливой страшной усмешке.

И я отдёрнул руку с огнём.

Что я делаю! Я устыдился. Огонь, я вижу его как жизнь, а она видит его как смерть. Но она стоит неподвижно. Стоит и смотрит на меня. Мне надо ей что-то сказать. О чём с ней говорить? У неё вместо лица сплошной рубец. Кожа выросла на лице, но зажила ли душа? Что она пережила? Зачем она здесь?

Она ничего не говорит, только молчит и смотрит. Может, она глухая, немая?

Я осторожно поднял горящий пук свечей над нею и над собой. Теперь огонь озарял нас двоих. Круглые совиные глаза прямо глядели в мои глаза. Уродливая монахиня с обожжённым до костей лицом смотрела на меня сурово, почти осуждающе. Я для неё был здоровый жлоб, весело живущий в мире здоровых, сытых и счастливых. Она же не знала, что я беден и слаб, и что я валяюсь на дне Божьего котла, и совсем скоро меня сварит и съест прожорливое время. Чёрные, как нефть, глаза. Фигуры не видно под суровой чёрной тканью. Если так жестоко обожжено лицо, значит, сожжено и тело. Сожжённая живьём стояла передо мной во храме, и я не знал, чем её утешить. Самим собой?

Завтра, только завтра ещё ждала Пасха, сегодня целоваться было рано, но я, далеко отставив руку с огнём, всё равно приблизил лицо к лицу уродки, такими, наверное, в древности глядели лица прокажённых, отверженных, что при дорогах сидели и милостыньку просили, и троекратно её поцеловал. Под моими губами трещала и разлезалась горячая кожа в корке жёстких рубцов. Вспаханные шрамами щеки краснели. Значит, в них ещё текла, играла кровь.

Один поцелуй в щеку, другой поцелуй в щеку. На третий раз женщина резко повернула голову, и под моими губами оказался её страшный рот без губ. И я поцеловал этот страшный рот – хотел крепко, а поцеловал нежно, еле дыша, еле касаясь земной чёрной щели живыми губами. Это я землю, землю поцеловал.

И я не умер от отвращения, и сознания от гадливости не потерял.

Чудо Огня, небесная Псалтырь! Я целовал её, взорванную, разрытую землю, живую святую книгу. Человек живет всех на свете книг, он и бессловесный стоит и глядит, как Бог, и под этим взглядом ты живёшь и умираешь. Я читал эту женщину, листал её сожжённые страницы. Буквы пожрал огонь, но вместо слов дышали, двигались сизые, золотые тени. На каждом из нас, на нашем лице, на груди и плечах, на ладонях и стопах, записаны великие молитвы. Мы, живя на земле, не знаем их, не повторяем на ночь. Но, стоя во храме перед лицом Огня, мы внезапно все их, до словечка, вспоминаем. И быстро, спотыкаясь, захлеб, шепчем! И спешим выговорить, выбормотать, выпустить во тьму! Я бы тогда ребра свои, как клетку, разбил, разорвал. И выпустил огненное сердце на волю. Лети! Пой!

Я искал губами чужие губы, а их не было. Горячее дыхание вылетело из-под земли и опажнуло меня, моё склонённое лицо. Я выпрямился. Уродка по-прежнему круглыми неподвижными глазами смотрела на меня. Потом она

попыталась закрыть глаза. На радужку напоззли ошметки обгорелой кожи. С полузакрытыми глазами стояла она передо мной, маленькая, худенькая, как птица. И мне захотелось взять её на руки и унести отсюда. На волю. На воздух. Под солнце.

Я поднял руку и пальцем осторожно коснулся её безгубого, изрытого шрамами рта.

Радость и счастье пылали на лицах. Иконным золотом светились щёки и лбы. Все стали детьми. Или ангелами. Люди передавали друг другу Огонь, окунали лица в Благой Свет. Умывались им. Всюду вспыхивали крики: «Кирие элеисон! Боже благи! Тэр аствац! Синьоре абби пьета ди! Господи помилуй!» Все радовались и ликовали, а передо мной стояла несчастная уродка, сгоревшая однажды заживо, стояла во храме, и храм ничем не мог помочь ей, и Господь не мог.

И она смотрела на меня, будто бы я был её Бог, Господь, сошедший к ней то ли с небес, то ли с фрески, из-под купола, то ли вышедший из клубков огня, но она руки не поднимала, не тянула ко мне, и молчало её неподвижное бугристое лицо, и молчали совиные глаза, лишённые век.

А я смотрел на неё так, как будто я был её блудный сын, а она моя старая мать.

О чём она думала, эта маленькая, худая, величиной с птичку, закутанная в чёрную шерсть, иностранная уродка? Я не думаю, что она была русская. А она не знала, какого народа я. У нас обоих там, в этом храме, не было национальностей. И, может, это было верно. Перед Богом все равны. У Бога сто имен, и Он всё равно Истина.

О чём думала она, на меня глядя? Как, куда текли её мысли? А может, она не думала ни о чём? И я тоже отключил ум: я это умел. Без мыслей, без чувств, только глубоко и правильно дыша, мы стояли друг перед другом. Нас обнимал горячий воздух, в нас бил, как в бубен, безумный от радости свет, и языки огня плясали перед нашими лицами и за нашими спинами. Так мы стали ангелами, и у нас за спиной горели и бились слепящие огненные крылья. Мы не удивлялись им. Мы, два ангела, глядели друг на друга, и храм весь гудел, и пел, и кричал, и времени не стало, небеса свились в огненный свиток, и мы оба знали в нём каждую живую букву.

И я по-прежнему высоко держал руку с пуком пылающих свечей.

Воск стекал мне на пальцы, но я не ощущал ожога.

Кто-то рядом с нами, задыхаясь от радости, громко восклицал на незнакомом языке одно слово, всё время повторял и повторял его. Слово било меня в лоб, так бьёт кувалда в медный гонг. Потом тот же голос заполошно крикнул по-русски в огненную тьму обезумевшей от счастья церкви: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие моё!» Поодаль люди пели хором; они пели от радости. Радость обнимала всех, и ради этой радости надо было лететь за тридевять земель. «Спасибо, Серафимушка, спасибо, Матушка», – шептал я, сам не зная что, называя имена всех, кого любил, и кто любил меня. Из-за любви я приехал

сюда. Кто я? Будда, Кришна, Иисус, Иегова? Внутри еврейской земли стоит православный храм, и неужели и он сгорит в грядущем огне?

Женщина, не отрывая от меня глаз, разлепила то, что прежде было её губами. Она хотела что-то сказать.

Силилась вытолкнуть слово. Не смогла.

Её страшное лицо люто искривилось, пошло волнами. По нему медленно, трудно расходились круги страдания, будто в него, как в горячее озеро, бросили камень.

А потом оно опять застыло. Застыли рубцы и шрамы. Ожоги сковало льдом.

Молчание накрыло это лицо прозрачным зимним пологом.

Вначале было Слово? О нет. Нет. Вначале было горячее дыхание. И поцелуй. И слёзы.

И глаза, что, не моргая, глядят в самую сердцевину тебя, в твою первую и последнюю тайну.

И тогда я, крепко держа над головою Свет, сам наклонился к уродке.

И тихо, внятно сказал, так раздельно и понятно говорят глухим: «Я тебя никогда не забуду».

Может, она, иноземка, меня не поняла. Скорей всего, не поняла. Плевать.

Я всего лишь обычный русский юродивый, так мне всегда говорил, хохоча, Родька Волокушин, ну, я и сам это знаю давно, и сам себя таким считаю, и что в этом зазорного? Между прочим, такие люди, как я, их много на Руси. И раньше много было. Они ходили по дорогам, пророчили, проповедовали, выбрасывали всякие коленца, выделявали штучки. Их боялись, их гнали батогами, над ними издевались, на них показывали пальцами и кричали: вон, вон он идёт, голый дурак! – перед ними вставали на колени и, плача, благодарили их за учёбу и прозорливость. Нет, я не прозорливый, куда мне! Слишком часто я слышал от людей то, что я дурень. Сумасшедший, идиот, придурок, умалишённый. А знаете мою последнюю новость? Моя давняя армянка, почти забытая мной моя девчоночка, та, из моей юности, из моей армии, нашла меня, прислала мне письмо, у меня на земле, оказывается, есть ещё один сын, и его зовут Андрей, как и меня; моя весёлая армянка забрюхатела тогда, в той брошенной ледяной избе с разбитыми зеркалами, выносила, родила и назвала ребёнка в честь меня. Ещё один Андрей-воробей! Гоняй, гоняй жирных ленивых голубей! На фотографии сынок мой новоявленный сильно похож на меня. Копия меня, никакой крови на анализ брать не надо, чистая работа. Вот несчастного сынка моего Юрочку выпустят из тюрьмы, и мои сыны подружатся. А может, плюнут друг на друга; это уж как получится. Иногда на меня накатит, и я вдруг вспоминаю ещё одну девушку свою, ту горячую, как головня из печи, отвязную девчонку из поезда «Горький – Адлер», бойкую проводницу, моего чёрного косматого, тощего ангелочка. Где она теперь?

Иногда мне кажется, я вижу её в городской толпе. Но зрение моё ослабло, и я могу обознаться. Да и зачем я буду окликать её? Всё, что было, всё уплыло. Я сказал ей когда-то, там, под стук колёс: я тебя везде узнаю. Враньё. Человек на лицо и тело с годами меняется неузнаваемо, а ещё сильнее меняется его нежная теплая душа: черствеет, леденеет. А знаете, чего больше всего я хочу? Ни за что не догадаетесь. Я хочу однажды собрать котомку, вскинуть на плечо, выйти из подвала, даже не закрывать его ни на какой ключ, пусть тот, кому надо, вещичками моими попользуется, и двинуться в путь. По дорогам. По градам и весям. Буду идти и идти, и птицы будут петь надо мной. Буду встречать людей, и добрых, и злых. Злым буду говорить о добре. Добрым буду улыбаться, и садиться рядом с ними, и есть и пить вместе с ними; а потом просить их: добрые люди, дайте мне, Христа ради, маленький шматочек вашей доброй, дивной души! От вас не убудет, дайте! И они будут отщипывать от своей горячей, вкусной, тёпленькой душеньки самый тёплый и вкусный кусочек, и протягивать мне, и улыбаться мне. А я буду складывать чужую милостыню, чужой хлеб, чужие грязные монеты, чужие дарёные самоцветы в котомку, а может, вовсе не самоцветы никакие, а невзрачные камешки, как тот, что мне когда-то кинул Серафимушка около обители своей. Буква «М», мир! Буква «В», время! Буква «Л», люди! А может, любовь! Да, любовь. Любовь в век, когда все передрались? Эка чем удивили! Дрались всегда. В век, когда все смеются друг над другом, и держат за пазухой камень, чтобы бросить в другого? И плюют другому в лицо? Любовь, вот насмешил старый дурак!

Ничего, ничего. Терпите. Я туже стяну резинку на своём конском седом хвосте. Я буду глядеть на вас и сам смеяться над вами, неразумными, беззубые десны обнажая, а вы терпите. Молчите! Я сам умею молчать. Молчанием можно сказать гораздо больше, чем словами. Вот я вам тут все словами говорил, и что? Вы теперь всё про меня знаете; да это вам только кажется, что знаете. А на самом деле я даже сам себя не знаю. И никогда не узнаю. Я, старый, беззубый, большеухий, как Будда, босой, как сам Иисус, буду ходить по пыльным и грязным дорогам и собирать в котомку души живые, мёртвые уже надоели, и всех мёртвых я оживить не смогу, мне бы всех живых воедино собрать, о лучшей участи и не мечтаю.

Звон доносится с дальнего храма. Звон обнимает меня. Я сижу у святого озера, идут круги по воде, я вынимаю из котомки горбушку хлеба и бутылку с водой, ем и пью. Гляжу на заходящее солнце. Над чем звонят? Над жизнью? Над чьей-то смертью? Надо мной тоже будут звонить, когда я умру. А может, не будут; я не царь, я бродяга, над бродягами не звонят никогда. Меня вчера убили, а сегодня я воскрес. Воистину? А что есть истина? Я думал, что я знаю её. Нет. Не знаю. Да и вы не знаете. Никто не знает. Звонят в колокола, и глухие слышат. Они слышат всё. А слепые всё видят. Отпить из бутылки, ещё глоток! О, да у меня там не вода, а водка. Глоток, и ты сыт и пьян, и нос в табаке. Ещё глоток, и всё узнаешь сразу. Всё, что с нами будет. Любите слепых, они видят всё. Любите глухих, они всё слышат. Любите горьких пьяниц и бедных хромоножек на площадях ночных безумных городов – они пророчат о невозвратном.

СЕРГЕЙ НИКУЛИН, Россия, г. Иркутск

(Лауреат в номинации «Судьба»)

Сергей Викторович Никулин родился 7 июля 1959 года в г. Киров. Учился в МГРИ (РГГРУ) в 1976–1981 гг. по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». Прозаик, геофизик, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. За успешные результаты в работе награждён знаком «Отличник разведки недр».

ИВАШКА

В Богом забытом уголке Забайкалья, вдали от железных и шоссейных дорог, на берегу быстрой и полноводной реки, среди залесенных горных вершин стояло село Таёжное. Полюбилось это место когда-то пришлым людям: долина реки здесь расширяется – земли для посева и лугов достаточно, рыбы в реке и зверя в тайге вдоволь. Откуда и когда пришёл сюда народ, по своей воле или скрываясь от гонений, и старожилы уже не помнили. Пока крестьянский уклад сохранялся, жили по большей части справно, в достатке. Да настали другие времена: отбила новая власть хозяйскую жилку, а новой затеи не дала. И посыпались подворья одно за другим, потому как молодёжь в селе не держалась – уезжали кто куда, лишь бы подальше от родного захолустья. И доживать бы селу свой последний век с оставшимися стариками в расцвет брежневской эпохи, да нашли в соседних горах геологи руду золотую. Организовали рудник с базой в непосредственном соседстве со старым селом. Построили в новом посёлке клуб, школу-восемилетку, детский сад. Преобразилась деревня, заголосила на разные лады: работать на рудник устраивался народ разношёрстный, по свету шатающийся в поисках работы денежной.

Много беспокойства от незваных соседей деревня приняла. Поворовывать на селе стали: пришлось старожилкам, замков не знавших, навешивать запоры на дома и амбары. По праздникам, выходным, а иной раз и в будни пьянствовали пришельцы по-чёрному. После водки принимались за брагу, похмелялись одеколоном, а когда и тот выпивали, уничтожали в магазине запасы всевозможной химии, хоть мало-мальски пригодной в употребление.

Но постепенно порядок наводился, начал рудник силу набирать. Все продукты возили с района – далековато выходило, накладно. Решили своё хозяйство организовать, чтобы хоть к празднику людям мяса отпускать, да детей молоком обеспечивать. Пастушить позвали деревенского мужичонку Ивашку. Было тому от роду уже далеко за тридцать, но стар и мал иначе как Ивашкой его не звали: шибко уж не велик он был ростом. К четырнадцати годам даже самый маленький парнишка начинал на Ивашку в прямом смысле свысока поглядывать. Родился и провёл всю свою жизнь Ивашка в Таёжном, и казалось ему родное село самым распрекрасным местом на земле, потому как

дальше района он и не бывал. Да и в район-то раза два ездил и то по надобности. Работу деревенскую с детства освоил, хоть и мал был ростом, да не дурак, и руки откуда надо росли. Больше всего Ивашке нравилось в пастухах ходить – сам себе хозяин, весь день на вольном воздухе, опять же хозяева коров кормили его по очереди. Свой дом хоть и был, да хозяйства Ивашка не держал – в холостяках ходил.

Перед тем, как на ферму наняться, выехал Ивашка из села третий раз – дальних родственников в районе навестить. Докуда он добрался во время поездки – неизвестно, но вернулся он недели через две с бабой – приблудилась где-то по дороге. Звали её броско, для здешних мест непривычно – Элеонора. Была она почти на голову выше Ивашки и телосложения не хилого – не всякий мужик за раз обхватит. На лицо не стара, да помято оно было изрядно, со следами невоздержанной жизни. Однако готовить Элеонора умела, тут уж не отыметь: часто ей приходилось в своей жизни поварить – то в артелях у старателей, то у геологов, то на лесоразработках. Поварские ли способности Элеоноры или что другое прельстило в ней Ивашку, но дело решилось: зажил он со своей сожительницей по-семейному.

Уйдёт Ивашка на весь день коров пасти, надышится травами луговыми, комаров да паутов покормит кровушкой, да вечером домой возвращается. А там Элеонора его горячими щами встречает, улыбается, насколько это было возможно на её физиономии изобразить. Но и то Ивашке в радость: какая ни есть, а баба своя – и накормит, и ночью приласкает.

Только скоро стало скучно Элеоноре весь день дома одной сидеть, стала она для подъёма настроения бражку ставить да попивать сначала помаленьку, потом поболее, а вскоре уже и запой начались. Придёт Ивашка с работы, а она уже и лыка не вяжет. Хоть он и сам выпить не дурак, но по простым дням воздерживался: не в почёте это дело у деревенских было. Начал он Элеонору поругивать, но руки для убедительности слов своих не прикладывал: силы с бабой справиться было достаточно, да бить понятие не позволяло. Не пошли увещеванья впрок Элеоноре, махнул на неё рукой Ивашка, да и сам стал к бутылки с бражкой чаще прикладываться.

Сведали о бражнице ушлые мужички на руднике. Стали к ней, пока Ивашки дома не было, на бражку в гости захаживать. А той и в радость: хоть появилось с кем днём словом обмолвиться, на судьбу свою бабью поплакаться. Так и стала она день за днём пить со своими новыми знакомыми. Иной раз очнётся, дня два-три без хмельного держится, винится перед Ивашкой, а тот уже и слушать её не хочет. Она и снова в запой уходит. Ходили мужики к Элеоноре всё бессемейные: много неприкаянного народца на руднике деньгу заколачивало. Мало ей показалось с ними бражку пить, стала Элеонора под пьяным делом и другие услуги мужикам оказывать. А так как с женским полом на руднике не ахти как дело состояло, то и от клиентов у Элеоноры отбоя не было: хоть и лицом не вышла, да телесами ещё в соку. Стали мужики угощенье её там же исправно отрабатывать – безотказной на этот счёт хозяйка оказалась.

И пошли по деревне пересуды, а в новом посёлке ей уже и прозвище придумали – Стюардесса.

Оказался среди гостей Стюардессы и Жлоб – бугор меж приткнувшихся к руднику бичей. Понравилось Жлобу гостить у Стюардессы, начал он потихоньку лишних нахлебников отшивать. Никто в открытую не мог ему возразить: жесток был Жлоб на расправу, сам что глыба гранитная – ломом не перешибёшь. Да и прошлое его тёмное, в общем, побаивались его и бывалые мужики. Осилить не могли, но злость и зависть свою тайком накапливали. Да кто-то и шепнул Ивашке, чем его Элеонора среди бела дня без него занимается. Всколыхнулась и запылала злость и досада в Ивашке: хоть и бросова баба была, а всё ж таки в одном доме жили, в одну постель ложились. Как прослышал про такое дело Ивашка, так на другой день выгнал коров на луг с травой погуще, чтоб далеко не разбрелись, а сам, едва дождавшись обеда, сел на коня и поскакал домой рысцой проведать, правду ли люди говорят.

Подскакал к дому осторожно, коняшку за изгородь привязал, а сам – к дому. Глядь, а окошко в спальне занавешено. Да она поди его и не открывала, потому как с утра выпила опять, – пробовал про себя объяснить эту задачу Ивашка. Взошёл на крыльцо, прислушался – за дверью как будто тишина, вроде как и нет никого. Потянул кольцо, вошёл в сени – и там тишина. Э, врут всё – народ пошёл поганый, лишь бы напакостить. Придумал уже оправдание, что соврать Элеоноре, чтобы оправдать своё появление в неурочный час. Шагнул было не слышно из сеней в кухню, да зацепил крючок – тот и звякнул. Из спальни, вход в которую был занавешен давным-давно выцветшими занавесками, послышался скрип кровати и как будто бы шёпот. Тут же Ивашка увидел на столе наполовину опустошённую банку с брагой, остатки нехитрой закуски из хлеба и сала, сковороду с недоеденной глазуньей и два стакана. Ага, всё-таки правду сказывали, – дошло до Ивашки увиденное, и он, уже не таясь, отдернул занавеску и вошёл в комнату. Жлоб сидел на кровати в одних трусах, за его спиной лежала Элеонора, с пьяным тупым удивлением глядя на Ивашку. Она неловко пыталась натянуть на себя одеяло, но ей это никак не удавалось в полной мере: то та, то другая часть её голого тела оказывалась неприкрытой. Невпопад она спросила: «Ты чего... Ты зачем пришёл?» Кровь хлынула Ивашке в голову и, сжав плеть, он пошёл на Жлоба. «Ну?!» – то ли с угрозой, то ли с вопросом Жлоб поднялся навстречу, громадой нависнув над Ивашкой. В отчаянии Ивашка бросился вперёд и тут же получил сильный встречный удар в лоб. Искры посыпались из его глаз, сознание Ивашки помутнилось и отключилось.

Когда он очнулся, в доме была одна Элеонора. Она, как будто бы ничего не случилось, прикладывала на лоб Ивашке компресс мокрым холодным полотенцем. «Ну, вот и очнулся... И зачем тебя чёрт принес? Не пришёл бы и цел бы был» – приговаривала Элеонора, суется возле него. «Зачем пришёл!? Ах ты, стерва!» – закричал было Ивашка, окончательно очнувшись и вспомнив что здесь произошло, да скривился от боли. Однако обида за унижение и полученный тумак всё же подняла его. И понеслось. Бил Ивашка Элеонору

долго и методично, таская за волосы по комнате, стуча головой об пол и пиная по толстому задку и ляжкам сапогами. Хрипел от натуги и приговаривал, запыхавшись: «На, сука, получай, получай, б... такая!». Элеонора не сопротивлялась, не орала, покорно снося побои, лишь прикрывала лицо руками. Может, эта безмолвная покорность и остановила Ивашку, ярость его смирила, не доведя до смертоубийства. Утомлённый непривычным занятием, сел Ивашка на табурет. Отсиделся, подобрал валявшуюся плетёнку и вышел.

Вечером домой не пришёл. Две ночи на сеновале у стариков-соседей провёл. На третий день встретила его вечером по пути с фермы Элеонора, домой позвала. Надоело и Ивашке по чужим людям ходить – молча кивнул ей в ответ согласием. Дома всё приведено было в порядок, ужин стоял на столе, что называется, с пылу с жару. Элеонора ожидала в праздничном платье, плотно облегавшем её полную, но стройную фигуру. И засосало у Ивашки под ложечкой, и захотелось ему запросто посидеть с ней, поесть вкусного горячего борща (два дня молоком с хлебом только и питался). Вспомнились и горячие ночи, когда ещё Элеонора в запой не пошла. Эх, оторвать бы её от бражки, может, и пожил бы ещё, – раздумывал Ивашка, садясь за стол. Как будто читая его мысли, Элеонора вымолвила: «Нету больше бражки, пропади она пропадом! Не будет больше этого. Для тебя вот только самогончики выгнала четверть». Села напротив и стала рассматривать Ивашку, будто век не видывала. Глаза её светились чем-то новым, ранее Ивашкой не замечавшимся, всё в ней как-то преобразилось. «Ты это чего?» – выразил удивление Ивашка обнаружившейся перемене. «Да так, смотрю вот, будто и не видывала раньше... Я ведь думала, что тебе всё равно... А как увидела, что ты на него пошёл, так испугалась, – Элеонора говорила медленно, как будто в раздумье, – и побил за дело! А как бил, так я и прозрела как будто... Ведь любишь ты меня! Не любил бы, не стал бы бить!» «Вот так хватила! – вымолвил Ивашка, наворачивая борщ, который ему казался как никогда вкусным и наваристым. – Бил что любил! Выходит, от большой любви и до смерти забить можно?!» «И можно, коли есть за что», – уверенно отозвалась Элеонора. То ли от её уверенного тона, то ли от того нового, хорошего, что уловил Ивашка в изменившейся Элеоноре, то ли от благодушия, пришедшего на сытый желудок, то ли от всего вместе взятого, только забрезжила в Ивашке надежда на новую, согласную жизнь.

Заснули они только под утро. Никогда ещё Ивашка не испытывал такого блаженства: как будто заново знакомился с Элеонорой, открывавшейся неизвестной ранее стороной. Да и сама она несколько неожиданно для себя обнаружила, что способна ещё на нормальные человеческие чувства, проявления ласки и нежности, от которых, казалось, отучилась за годы бесчувственного, животного удовлетворения потребностей. И зажили Ивашка с Элеонорой ладно и справно, вроде как в медовый месяц.

И всё бы хорошо, да только Жлоб от своего не отступился. Как-то, проходя вроде невзначай мимо Ивашкиного дома, он окликнул хозяйничающую во дворе Элеонору. Сказал, чтобы завтра в гости ждала, и зашагал тяжело прочь, оставив растерянную женщину, не успевшую от

неожиданности и рта раскрыть. Боялась Элеонора Жлоба, но ещё больше за своего Ивашку переживала – не решилась ему вечером про визит Жлоба рассказать. Только утром терпенье кончилось и всё как есть рассказала Ивашке. Болью в сердце отозвалось в нём напоминание о Жлобе, нахмурился Ивашка, помолчал, затем спросил коротко: «Когда?» «Сёдни, после обеда должно быть», – ответила Элеонора и потупилась.

Выгнав стадо на ближние луга, Ивашка к обеду пришёл домой. Ждали непрошенного гостя молча, с напряжённым вниманием прислушиваясь к звукам с улицы. Часа в два Жлоб появился, зашёл в дом по-хозяйски, не постучав. Казалось, он не был удивлён присутствию в доме Ивашки. Не здороваясь, сел на табурет, который по-старчески скрипнул под его тяжестью.

– Ну, что у вас тут? – не торопясь первым заговорил Жлоб и со смешком поинтересовался: – семейная идиллия?

– Ты вот что, – начал Ивашка неуверенно, но, собравшись, твёрдым голосом закончил свою мысль, – ты больше не ходи сюда.

– Не ходи?.. – как бы в раздумье повторил Жлоб, – значит вот как....

– Вот так, – подтвердил Ивашка.

– Стало быть, от ворот поворот... А она? – Жлоб взглядом повёл в сторону стоящей в дверном проёме, ведущем в спальню, Элеонору. – Стюардесса... Знаешь поди за какие заслуги её так прозвали? Нет? Потому как обслуживает надёжно, как гражданский флот, а главное – безотказно. Не ты ли за неё решил?

– Вместе решили, – вставила своё слово Элеонора.

– Вместе, значит? – в глазах Жлоба вспыхнул и загорелся недобрый огонёк, – а Жлоба, значит, по боку? Чем прельстилась? – И, снова обращаясь к Ивашке, продолжил:

– Да на ней пробы негде ставить! Имели и будем иметь! – рот Жлоба скривился в усмешке. – Она тебе кто?

– Жена, – уверенно сказал Ивашка, сжимая до боли кулаки.

– Жена?.. – издевательски переспросил Жлоб. – Б... она хорошая, а не жена!

Ивашка сгорал от внутренних мук, всем своим существом желая уничтожить противника на месте, чтобы раз и навсегда прекратить этот позор. Но, чувствуя своё физическое бессилие перед этим монстром, только яростно пыхтел. Тут вмешалась Элеонора:

– Нету больше Стюардессы. Забыто всё. А вы бы выпили по рюмочке, да и разошлись бы миром, – надеясь разрядить ситуацию, предложила она.

– Да вроде бы ни к чему выпивать, – заметил Ивашка.

Но Жлоб за предложение зацепился:

– И то верно! Отчего бы и не выпить в приятной компании?! Заодно и свадебку справим!

– Ладно, давай, что там у тебя есть? – расслабился Ивашка в надежде на благоприятный исход.

Элеонора засуетилась, вытащила из-за печки бутылку самогонки, быстро расставила стаканы и закуску, сама села в стороне. Налили по первой, выпили до дна. Ивашка крикнул:

– Ничего, пробирает!

– Слабовата, не первач, – в пику отозвался Жлоб.

Повторили ещё по одной.

– Ты чего не пьёшь? – обратился Жлоб к Элеоноре. – Выпей с нами, не побрезгуй!

Он налил и протянул ей стакан. Элеонора посмотрела на Ивашку и, получив молчаливое согласие, глотнула из стакана. Но, видно, ситуация была не располагающая – поперхнулась, закашлялась.

– Эвон как! – осклабился Жлоб. – А со мной пила, не захлёбывалась. Или семейная жизнь поперёк горла стала?

– Ты бы не болтал, – одёрнул его слегка захмелевший Ивашка. – Что было, то прошло, былём поросло.

– А ты мне не указывай! – взорвался Жлоб, и его уже было не унять. – Давно ли я тут с ней гулеванил? Недели не прошло, как на самой этой кровати, – Жлоб ткнул рукой в сторону спальни, – раскладывал... Сам поди видел!

Ивашка побагровел, лицо налилось кровью. А Жлоб безжалостно продолжал:

– Тогда сорвалось, так сегодня ещё не поздно! Будет вам свадьбка... со звоном! На таких б... не женятся, их е...! Понял ты, вошь!?

От хладнокровия Жлоба не осталось и следа, он привстал и навис над столом, – казалось, что готов раздавить своей массой сидевшего напротив возмущённого и вместе с тем растерянного от такой наглости Ивашку. Элеонора откашлялась и попробовала вмешаться в ситуацию, подойдя к столу. Жлоб схватил её за руку и притянул к себе. Элеонора беспомощно забилась в его ручищах:

– Пусти, чёртов сын! Пусти, ну прошу же!

Ивашка вскочил со стула, но это ненамного возвысило его перед противником.

– Пусти её! Пусти, говорю, а то...

– А то что? – напирая на последнем слове, переключился снова на Ивашку Жлоб, выпустив руку женщины.

– А то... зарублю! – с каким-то обречённым спокойствием объяснил Ивашка свои намерения.

– Зарубит! Ой, не могу! – Жлоб всплеснул руками и как будто искренне удивлённо рассмеялся. – Ты, дерьмо коровье! Что ты можешь?! С бабой-то справиться не моги, а тут... Ха-ха-ха! Зарубит! Ой, б... буду, уморил!

– Зарублю, ежели тронешь! – всё с таким же невесть откуда взявшимися решительностью и спокойствием, повторил Ивашка.

– Зарубишь?! – Жлоб уставился на Ивашку в упор.

– Зарублю, – упорно подтвердил Ивашка.

– А ну давай! – вошёл в раж Жлоб.

Он подхватил Ивашку за бок и одним рывком метнул его к двери. Ивашка едва успел вытянуть руки, чтобы не открыть дверь головой. Из сеней выскочили во двор.

– Где топор?! – заорал Жлоб и, увидев его воткнутым в чурку для рубки дров, вытащил и сунул Ивашке в руку.

Казалось, он забавлялся и играл в какую-то одному ему ведомую игру, где он, Жлоб, был главным действующим лицом, а остальные выполняли лишь отведённые им роли, которые он сам же и распределил.

– Давай, руби! – Жлоб опустил на колено, положив голову щекой на чурку. – Ну что, сдрейфил?! Ну!

Мысли пронеслись у Ивашки в голове с поразительной быстротой. За несколько секунд он вспомнил, как много дров перерублено на этой чурке при заготовке их на долгую морозную зиму. Всегда колот дрова с удовольствием, азартно, топором наловчился работать так, словно это и не топор вовсе, а продолжение его руки, разящей точно, без промаха. А вот когда, с какого дерева спилил эту чурку, вспомнить не смог. Да и шут с ней! Метнул взгляд на убежавшую следом и застывшую молча в дверном проёме женщину. Обида за все унижения затмила разум и всколыхнула кровь. Коротко, но резко и уверенно взмахнув топором, он непреклонно вонзил его в чурку, разрубив шею Жлоба. Обезглавленное тело слегка будто приподнялось и отвалилось в сторону. Вскрикнула наблюдавшая за происходящим Элеонора и стала медленно сползать по косяку в обмороке. Голова Жлоба отскочила на другую сторону чурки, перекатилась по земле и замерла, уставившись всё ещё ухмыляющейся улыбкой в небо. В глазах медленно тускнел лихорадочный блеск, не успели они выразить ни удивления, ни боли.

...Суд нашёл оправдательные мотивы, да и на зоне за примерное поведение Ивашке срок скостили, так что вышел на волю досрочно. Элеонора после этого случая пить бросила совсем и с беспутной жизнью завязала накрепко. Дождалась возвращения Ивашки, блюдя дом, хозяйство и своё естество. Да ещё стала Элеонора, а как оказалось по паспорту – Алла, набожной. К деревенским старухам захаживала, помогала им время коротать в их старческом одиночестве, да на иконы ихние молиться: грехи свои и грех мужнин замаливать. Ивашка продолжил летом пастушить, а зимой выполнял работу всякую, больше на руднике, так как оказался на удивление сметливым и умелым в механике. Бражки в доме больше не водилось, Ивашка выпивал изредка, по большим праздникам. То ли после случая с Жлобом, то ли за выявившуюся мастеровитость, но всё чаще селяне стали называть его уважительно Иваном, а в скором времени и совсем забыли старое прозвище.

А история эта по округе ходит, из уст в уста передаётся, обрастая небылицами и вымыслами. И к Ивану с Аллой она уже, вроде как, и никакого отношения не имеет.

ИЛГИЗ АХМЕТОВ, Россия, Республика Башкортостан, д. Дюмеево

(Лауреат в номинации «Судьба»)

Родился в 1962 году в Башкортостане. В 1984 году окончил Бирский государственный педагогический институт (физико-математический факультет), по распределению попал на Дальний Восток, работал учителем, был классным руководителем. Заочно окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиотехники. Первая большая работа – запуск полностью автоматизированного мини-завода ЖБИ (Амурская область).

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Глава 1. Юрий Васильевич

Белый потолок над головой был уже противен – я знал наизусть каждое пятнышко, каждую царапину...

Наконец меня перевели в общую палату областной больницы... С левой стороны у стены неподвижно лежал худой жилистый человек с впалыми глазами. Изредка он делал какое-нибудь простое движение. Как робот. Или механический манекен. Я ворочался, то и дело издавая отрывистые звуки.

– Ворочаться долго будешь? Будешь стонать – пинка получишь!

Я лежал, пытаюсь заставить себя не стонать, лишний раз не двигаться. А сам украдкой на его сторону поглядывал... И что я увидел – на полу, под кроватью, лежат две ноги – два протеза: одна ниже, другая выше колена... Боже! «Пинка получишь!...»

– Что? Копыта мои увидел? Делать нечего – без них мне никуда. Хоть и деревянные, носят меня. Ну что, отлежал бока-то? Айда, поднимись, посиди малость, легче станет.

Только присел на край кровати, чувствую, воздуха не хватает, голова как будто не своя.

– О-о-о... Рановато ещё, оказывается, тебе подниматься. Сделай вдох поглубже. Чуток удержи дыхание. Выдыхай. Слегка нагнись вперёд. А теперь – вдох. Выпрямляйся со вдохом. Ну как, легче?

Прошёл час. Мне действительно стало лучше. За это время мы уже успели познакомиться: его слова лечили меня, успокаивали, вселяли уверенность...

Юрий Васильевич, так звали моего собеседника, оказался прекрасным рассказчиком.

* * *

Много лет назад, рано потеряв родителей, Юра попал в детдом. Повзрослел рано. Закончив школу, оказался на улице: родной дом давно чужие люди заняли. Попытался доказать кулаками – оказался за решёткой. Объяснили. Жёстко и доходчиво. Пришлось уехать – хоть куда, лишь бы подальше. Он и мешки выгружал в порту, и дворником устраивался ради жилья, но как только узнавали, что жизнь его началась с решётки, сразу желали доброго пути. Шли дни. Серые, похожие один на другой. Без веры и надежды на будущее. Наверное, так и пропал бы Юра. Если бы...

В тот день он, как обычно, отправился разгружать вагоны. Только что ушёл пассажирский скорый поезд. На перроне остался только один человек. Он стоял, опираясь на костыли, и тяжело смотрел на чемоданы.

Юра заметил его ещё издали:

– Ну что, пойдём, помогу...

За последние полгода Юра впервые увидел доброе *человеческое* лицо.

– Ну пойдём, коли так. Похоже, меня всё равно никто не встречает.

Седоволосый инвалид оказался подполковником в отставке. Ногу отняли в этом году – и сразу в отставку.

– Эхо войны, – сказал он. В голосе прозвучали нотки нестерпимой боли...

Разговаривали долго, это было приятно обоим. Со стороны, наверное, казалось, что внук бережно ухаживает за дедом. Имя «деда» в памяти не сохранилось. Остался лишь «товарищ подполковник».

Небольшой домик с видом на Волгу в пригороде Волгограда встретил их без особого оптимизма.

– Ммдааа-а... Домочадцы мои и не появлялись здесь. Грядки бурьяном заросли. Дом паутиной покрылся. Забросили гнёздышко...

Юра вмиг изменился, проснулось какое-то чувство – доселе ему неизвестное. Он поймал себя на мысли, что хочет сделать что-то хорошее этому человеку. Они оказались рядом – два одиночества. Как пара костылей...

День пролетел в одно мгновение. Юра успел и бурьян прополоть, и двор подмести, а к вечеру на столе пел самовар, на плите варился борщ, наполняя ароматом весь дом.

– Ужин готов! Прошу занять позиции, товарищ подполковник!

– Да ты настоящий солдат, Юрий! Из тебя замечательный офицер получится!

Слово было сказано. А подполковник слов на ветер никогда не бросал. Значит, так тому и быть...

...Через несколько лет Юра стал таким, про которых говорят: «Рембо отдыхает». В его группе все были настоящими воинами: справлялись с любым заданием, отлично управляли любым наземным, водным и воздушным транспортом, прыгали с парашютом, владели любым оружием в совершенстве. Они были элитой вооружённых сил.

Десять лет пролетели как один день. По случаю присвоения очередного воинского звания – капитана, его наградили отпуском. Юра, теперь уже Юрий Васильевич, одетый в парадный мундир, сошёл с трапа самолёта; такси мчалось через весь Волгоград. За окном весна благоухала запахом черёмухи; вокруг всё было просто хо-ро-шо! Прибыли. Знакомый дом. Всё та же калитка. Только деревья стали повыше...

– Вы к кому?

Юрий Васильевич стоял, как парализованный. Он ничего не слышал и не видел. Только сердцем чувствовал – опоздал...

– Товарищ военный, вы кого-то ищете?

– Здесь подполковник в отставке жил...

– Так он ведь умер давно. Уж два года как. А вы кем ему будете?

– Сын... я... его... – наступила тяжёлая пауза. – Приёмный...

Почему он так сказал? А ведь сказал не он сам, а его сердце.

– Ай-яй-яй... Сын... Да ещё военный... Где же ты был, сын? Последний год водичку ему подать некому было...

Юрий Васильевич грустно упал на колени. Огромный букет белой сирени рассыпался перед калиткой. Никто не слышал, как он плакал. Только слёзы обжигали тропинку, где когда-то ходил подполковник...

...Через полчаса поезд увозил его и эту неподъёмную ношу, его неоплатный долг перед памятью теперь уже навечно своего старика, чьё седое лицо олицетворяло всё хорошее, что только было у него в жизни. Каждый свой шаг теперь он делал во имя искупления этого долга. И это становилось частью его долга перед Родиной.

Глава 2. Винтик, отслуживший винтик

Юрий Васильевич становился всё малословнее, совершенство его боевой подготовки – всё более фантастическим. Армия была для него всем: и семьёй, и домом, и работой, и досугом, и даже развлечением. Один простой пример: он пальцами запросто мог выдернуть из забора старый гвоздь и, бросив, сбить летящего воробья.

Их подковывали в духе марксизма-ленинизма: политинформации, политзанятия, индивидуальные беседы. Каждый из них был винтиком огромного механизма. Винтики можно использовать, отложить про запас, потерять или просто выбросить – никто и не заметит! Так происходило часто. Создавали, потом засекречивали, потом отправляли на запас, на хранение, в архив – куда угодно, лишь бы подальше. А потом выбрасывали... как туалетную бумагу.

Одна африканская страна, условно назовём её Анголой, стала зоной жизненных интересов СССР. Партия решила, что в этой стране будет политический переворот, и он случился.

Группа Юрия Васильевича сбросилась под утро: часы показывали 3 ч. 30 мин. Время, когда хочет спать каждая клеточка нормального человека. Потому их никто не заметил, да никто и не ожидал. Эта тёплая ночь для спокойной тропической страны оказалась последней мирной.

Время было распределено по секундам. К 10 часам утра вся «работа» была выполнена. Правительство свергнуто, здание правительства взорвано. Теперь можно и домой. Обратный путь к заданному квадрату пролегал меж двух развалин. В целях осторожности Юрий Васильевич стал подниматься на пригорок справа. Только группа вошла в коридор, произошёл взрыв чудовищной силы. Шансов выжить не оставалось.

Когда Юра пришёл в себя, сразу понял, насколько сложна ситуация. Правая нога вывернута ниже колена. Большое бурое пятно крови говорило об открытом переломе. Живот тоже был мокрым. А дальше было ещё хуже. Через правый край живота, насквозь пронзив всё тело, торчала арматура. Снять себя он не мог. Время работало против него: кровопотеря продолжалась.

Послышались голоса. Это на грохот взрыва пришли местные стражи порядка. Похоже, старший шёл впереди. За ним ещё трое при оружии. Юру они не видели: изломанная бетонная плита была хорошим укрытием. Пришпиленный арматурой, он не мог ничего. Чтобы не сдаться, на всякий случай приготовил пистолет. Не понадобилось. Когда группа подошла к центру взрыва, неожиданно прозвучали выстрелы. Сначала два, почти дуплетом, спустя секунды ещё два. Стреляли метко. Точно в голову. «СВД, снайперская винтовка Драгунова? – подумал Юра, – так ведь здесь наших быть не должно...» Но почерк знакомый. Ещё выстрел. Потом ещё один. Пистолетные. «Кольт, – промелькнуло в голове. – Ликвидатор... Неужели?» Не верилось. Мысли путались.

Но не это теперь было главное. Юра снял поясной ремень, вскрыл экстренный комплект. Ампулы под левым подкладом тоже уцелели. Надо отключить боль. Но дотянуться до позвоночника было невозможно: арматура не давала. Укол пришлось сделать внутримышечно. Время пошло. Через три-пять минут начнёт действовать, через четыре-пять часов перестанет. Надо успеть.

– Солдат должен жить! Выжить! Героем!

– Есть выжить, товарищ подполковник!

Юра размотал нить пилы с алмазной пудрой, пропустил её под собой – на это ушло больше часа. Зато спилил за пять минут! Он понимал, что спиленная арматура начнёт падать, потому подготовился заранее: в рану сверху влил вторую ампулу, проверил, нет ли заусенцев на распиле. Только потом допилил. Арматура оторвалась, стала падать, Юрий Васильевич молниеносно схватился и выдернул её. Потерял сознание.

Когда очнулся, птицы клевали его застывшую кровь. А он – беспомощный, израненный, переломанный, лежал на этой чужой земле, которой он, кроме горя, ничего не принёс... Спешно обработав, зашил раны на животе. Обнадёживало то, что кишки и печень не пострадали: железка прошла

через мягкие ткани, но Юра на всякий случай оставил дренаж, изготовив из бельевой резинки, из трусов выдернул. Это уже потом он убедится, что правильно сделал – гной перестал идти только через неделю. А вот нога была действительно безнадежна: мало что открытый перелом, да ещё птицы поклевали...

Солнце пекло всюду. На пригорке начиналась роща. Надо добраться. Вколол в колено последнюю ампулу и пополз. Сначала попробовал на спине. На левом боку оказалось менее болезненно. Вот, наконец, долгожданная прохлада тени. Подобрал две деревяшки, наложил на ногу шину, обвязав всем, что было – в ход пошли ремень, лоскуты гимнастёрки и даже нить пилы. Сам того не подозревая, спрятал инструмент на сломанной ноге.

Вдруг почувствовал еле уловимый запах. Это оказался запах брошенного бычка «Беломора».

– Неужто наши... – горькая мысль снова обожгла душу.

Значит, чутьё не обмануло. Недалеко лежал труп. Две раны. Два выстрела. Кольт. Второй выстрел – контрольный. В голову. Юра его знал – занимались вместе. Из одного котелка хлебали. А как обернулось... «Жизнь одного человека ничто во имя судьбы партии» – промелькнули в голове слова политрука.

Осмотревшись, Юра заметил кровь чуть на стороне. Переворачивали. Значит, ловушка: граната под трупом. Он заметил невидимые простому человеку две нити. Осторожно выдернул край ветровки, вырезал оттуда ампулы: это единственное, чем мог услужить его старый знакомый.

А на далёкой Родине родные снайпера Сироткина получают пакет со штампом, где будет сказано, что он героически погиб, исполняя долг перед Родиной, партией и советским народом. Похоронят закрытый пустой гроб... Когда-нибудь взорвётся граната под ним. Разбросает его прах. Это будет его последний салют. Винтик отслужил. Списан. Выброшен. Забыт.

Укол подействовал почти сразу. Боль отступила. Юрий Васильевич пополз. Он отчётливо помнил карту местности. До границы – километров тридцать. Далековато. Но это единственный шанс выжить. По пути нашлась удобная палка. Идти стало легче и быстрее. К рассвету позади осталась почти половина пути.

У ручья остановился на привал. Жадно пил. Организму требовалось много воды, чтобы компенсировать потерю крови. Он промыл раны на животе, отстирал тряпки и сделал перевязку. Разрезав брючину, осмотрел ногу, промыл, туго забинтовал. Как жаль, что фляжка со спиртом раздавилась, хорошо бы ногу обработать.

Наверное, на кровь от бинтов в воде стали собираться рыбки. Сначала мелкие, потом и покрупнее. Когда появилась одна за полкило, у Юры даже глаза заблестели. Спешно отрезав кусок тряпки с засохшей кровью, он проткнул его прутиком и воткнул в мелкоте почти у берега. Долго ждать не пришлось: крупная отгоняла мелочь и была почти рядом. Выждав момент,

рогатиной прижал рыбу к твёрдому дну. В следующее мгновение проткнул её насквозь второй палкой. Чувствовал, что сил маловато, потому и не спешил: ждал, когда рыбина ослабнет. Только потом перебросил её на берег.

– Завтрак – главная трапеза дня!

– Да, товарищ подполковник!

Глаза заморели... «Сила бойца на кухне куётся!»

Разжечь костёр не составило труда: он отрезал узкую полоску ремня, натёр до нагрева две сухие деревяшки и вмял меж ними ремешок. Пошёл дымок, затем пламя. Жаль, что чай не в чем вскипятить. И шоколада нет. Юра улыбнулся: «Не хочу чай без шоколада!» Как мало человеку для счастья надо! Всего лишь победить. Одолеть себя. А потом сытно и вкусно поесть...

Глава 3. Ампутация

Юрий Васильевич не ожидал, что так легко перейдёт границу. Ни на этой, ни на той её стороне никто не встретился. Раз его не нашли пограничники, он должен найти их сам. К вечеру впереди появились постройки. Местного языка он, конечно, не понимал, потому и решил: будь что будет. Его появление заметили не сразу. А может, просто не обращали внимания. На земле валялась посудина. Взяв её, Юра пошёл к колодцу, типа нашего журавля. Зачерпнул ведро воды, отмыл начисто посудину, натирая песком, сполоснул, стал пить. Потом зачерпнул ещё раз, поставил подальше от колодца, сел и начал разматывать повязки на сломанной ноге. Угроза гангрены была реальной. «Товарищ подполковник, по вашим стопам иду...»

Становилось ясно, что нога не заживёт. Подошли несколько человек, молодой мужчина прикоснулся к его плечам и заговорил на своём языке, показывая то на сломанную ногу, то в сторону домов. Было понятно, хотят помочь, надо куда-то идти...

Его отвели в медпункт. Появилась маленькая надежда. Однако воспаление, характерный запах, выделение тёмной жижи – всё говорило о неминуемости гангрены. К рассвету стало понятно – без ампутации не обойтись. Утром, когда подошли люди, Юра стал им объяснять, что ногу придётся отрезать: они очень огорчились. Труднее всего было объяснить, что нужно вскипятить масло и им прижечь срез. Когда поняли, женщины стали плакать, обнимали его за голову, целовали, становились на колени. По всему было понятно: они спрашивали, нет ли другого способа. Медлить было нельзя. Воспаление поднималось всё выше. Уже началось заражение в суставе. Значит, колено не сохранить. По просьбе Юры позвали двоих мужчин. Операция началась. Вколов обе оставшиеся ампулы, отключили ногу. Наложили жгуты. К тому времени Юра успел объяснить, что и как нужно делать. На случай потери сознания. Он терпел: помогал, когда отрезали сухожилия, поднимали мышечную массу. Когда стали пилить кость, не выдержал. Отключился.

– Понимаю, тяжело. Но жить надо. Надо выжить!

– Есть выжить, товарищ подполковник!

Очнулся от влажного прикосновения. Юра открыл глаза. Женщина вытирала ему лицо. В её глазах бриллиантами блестели огромные слезинки...

Нога уже была отпилена, накладывали последние швы. Слышно было, как где-то рядом разогревают пальмовое масло... Странно, боли не было. Наверное, организм ещё не оценил потерю. Вот начали заматывать верхнюю часть ноги поверх бинтов столовой клеёнкой, защищая от лишнего ожога. Никто, наверное, не знает точно, кто и где изобрёл этот варварский способ прижигать раны кипящим маслом, но его использовали ещё в глубокой древности. И до сих пор не придуман более действенный и безотказный способ. От боли ожога Юрий Васильевич опять провалился в бездну. Огорчённо смотрел седой подполковник, покачав головой, пытался успокоить: «Без ноги тоже можно жить. Была бы голова, а шапка всегда найдётся».

В этот раз он пробыл без сознания намного дольше. Когда пришёл в себя, солнце уже стояло высоко. Рядом сидела молодая африканка в белом халате и дремала. Окна были открыты. Оттуда доносился шум детворы, птичье пение. Здесь жизнь течёт своим чередом. И народ живёт в мире и согласии. С соседями, с природой: вот ему помогли. А ведь он не с миром пришёл. Как это плохо – быть пешкой в чужих руках, быть винтиком.

Девушка вздрогнула, проснулась. Заулыбалась, радостно вскрикнула, соскочила и подбежала к открытому окну. Что-то крикнула в окно и сразу же вернулась обратно к нему. Влажной тряпкой вытерла его лицо, руки. Ему было просто хорошо. Как будто не было беды. Забежали дети, окружили его, тумбочки обставили букетами цветов, а сами говорили, говорили... Перебивая друг друга... Они восхищались им. Да и белого человека они видят не каждый день. А может, и впервые. Для них он – герой. Сильный, всемогущий человек.

Дня через три-четыре за ним приехали представители власти и увезли. Юра был почти уверен, что его сдадут в посольство, а потом он отправится домой.

Глава 4. Побег

Но его привезли в частный зажиточный дом. Спустились вниз, завели в комнату. За спиной лязгнули тяжёлые засовы. Единственное окно было с решёткой, и у самого потолка. Были умывальник, туалет и два топчана. На одном лежал молодой африканец крепкого сложения, босой, в сильно изношенной одежде.

Снаружи послышался шум. Открылось окошко в двери, появилась голова пожилой строгой женщины. Африканец, улыбаясь, разводя и размахивая руками, стал подходить к двери. Но после нескольких её слов присмирил и сел на место. Дальше она говорила так, что Юра приблизительно понял. Она приказала африканцу отнести еду на стол для Юры. Окошко закрылось, и африканец с важным видом подошёл и забрал чашку. Юра погрозил пальцем и помотал головой: нельзя этого делать, но африканец нагло показал фигу. Не раздумывая, Юра схватил фигу и сжал в кулаке. Приглушённый гортанный

звук и хруст пальцев прозвучали почти одновременно. Коронный удар левой в ухо надолго успокоил верзилу. Ведь всё просто – веди себя как человек, разве он не поделится бы?..

Прошло несколько дней. По просьбе Юры дважды в день приходил санитар. Обрабатывал ногу и менял повязку. Юре также дали столярный инструмент и дерево, чтобы мог изготовить себе протез. Африканец во всём ему помогал. Говорят, дурной пример заразителен. Оказывается, и положительный тоже! Впервые взяв в руки столярный инструмент, молодой человек увлёкся работой.

Они учили друг друга языку, каждый своему. Самое смешное, что наряду с «да» и «нет» африканцу легче всех запомнилось «ё-моё».

Наконец наступил пасмурный февральский день, когда перед ним открыли двери. Моросил дождик. Юрий Васильевич посмотрел на небо. Тяжёлые облака висели низко и быстро плыли на север. «В нашу сторону...», – с тоской подумал Юра.

Оказалось, его просто купили. Как товар. Как собачку на птичьем рынке. Значит, это была не частная тюрьма, а отстойник. Здесь торговали людьми.

На следующий день он и стал цепным псом, охраняющим дом своих новых хозяев. Всю дорогу Юра проспал. Видно, в бутылке минеральной воды было снотворное. Потому он и не заметил ни перелёта, ни таможни. Его посадили на инвалидную коляску, сняли с ноги протез. А на таможне сказали, что он только заснул, боли сильные, лучше не беспокоить. И не беспокоили. За деньги, разумеется. Сказали, везут на лечение. За протезом едут.

Юра проснулся только на следующий день в такси. Они ехали по объездной дороге большого города. От лошадиной дозы снотворного ломало всё тело, болела голова. Но Юра всё же увидел кое-что важное. Это были знаменитые «тарелки». «Город Касабланка? Когда успели? Ведь это несколько тысяч километров!»

Всё предусмотрели, сволочи. Протез сняли. Костюм надели с пришитыми рукавами. Не шелохнёшься. За городом проехали ещё с десятков километров. Солнце справа. Значит, едем на север. Слева должен быть порт. Должно быть много кораблей, может, и наши есть...

Ещё несколько минут езды – и машина остановилась, заехав во двор. Юру отвели к стене сарая и посадили на перевёрнутое старое ведро. В какой-то момент все враз набросились на него, повалили на землю и держали, как кабана при забое. Надели на здоровую ногу кольцо типа кандалов, электросваркой приварили цепь. Пахло горелым мясом, а сварщик продолжал варить. Наконец всё закончилось. Облили ногу холодной водой. Металл шипел. От ожогов нога покрылась волдырями. Отпустили. Все отошли. Встали полукругом. Смотрят. Любуются на своего нового «охранного пса». Такое унижение...

Юркина жизнь превратилась в собачью. Еды давали не всегда, иногда даже воду забывали приносить. Юра потерял счёт времени. Оброс. Иногда и жить не хотелось. Но даже самоубийство совершить нечем. Он вспомнил, как собаки прячутся от жары. Юра стал рыть землю. Это хоть как-то отвлекало от

тяжёлых мыслей. И вдруг – удача! Откопал обломок старого напильника. Медлить было нельзя. Левая нога на месте сварки болела постоянно. Место ожога не заживало. Если так лежать – и вторая нога пропадёт.

За неделю упорного труда на стальном кольце появились два надреза. Теперь оставалось только ждать. И долгожданный час настал. В те дни шли ливневые дожди. У хозяев был праздник. Видимо, очень значимый – Юре вынесли большую чашу еды. Было даже мясо. Очень кстати. Подкрепившись, Юра на то место, где обычно лежал, набросал землю, накрыл лохмотьями. Только потом раздвинул и отломил кольцо на ноге. Надел протез, взял своё единственное оружие – обломок напильника. Если всё будет нормально – до утра не хватятся. Значит, есть время, почти семь часов, это хорошая фора. На улице никого не было. По пути снял с забора проволоку, примотал к костылю.

Сквозь ночную темноту Юра пробирался туда, где на зеркальной морской глади стояли корабли. Впереди его ждала свобода. И конечно, дорога домой.

По лаю собаки и отрывистым звукам Юра понял – обнаружили его исчезновение. Спасительная вода становилась всё ближе, вот уже и омытый приливом песок. Тут проваливаются его костыли. Юра падает, как обидно!

– Вперёд! Только вперёд!

– Есть, товарищ подполковник!

– Если ноги бессильны – руки выручат!

Сильные руки волокли тело к воде. И вот вода! Юра отстегнул протез, скрутил вместе с костылями проволокой и, опираясь на них, как на плот, поплыл. Когда на берегу появились люди, он был уже очень далеко: приближался к судну, стоящему на рейде. Ослабший Юра схватился за якорную цепь...

С первыми лучами солнца судно дало длинный гудок. Якорь стал подниматься, и Юра оказался на судне, вернее, в якорном тоннеле. Берег отдалялся. Судно вышло в море, взяв курс на север. Юрий Васильевич из последних сил вскарабкался по цепи и, падая на палубу, потерял сознание.

Вахтенный с рубки, увидев его, поднял дежурную группу. Юра оказался в корабельной санчасти. Его бессознательное состояние сменилось сладким мирным сном. Впервые за полтора года он помылся, побрился, поел по-человечески.

Судно было английским. На всякий случай Юра сделал вид, что языка не знает: осторожность не повредит. Нашли матроса, знающего русский. Юра рассказал, что он турист, во время экскурсии заблудился, сломал ногу, его нашли африканцы, отрезали ногу, продали в рабство. Юра показал место сварки кольца цепи на левой ноге, приподняв брючину, и понял, что ему не верят. Оказывается, им по радио уже передали о побеге из тюрьмы опасного преступника и обещали вознаграждение. Юра делал вид, что не понимает, благодарил за спасение. А в ответ услышал на английском: «Да тебе спасибо за такую сумму!»

Сначала за ним следили, а через час совсем забыли: «Куда сбежишь – кругом вода!» А бежать надо. Если сдадут – шансов не будет. На леере правого борта Юра заметил аварийный комплект: ящик оранжевого цвета. Он знал: внутри находятся самонадувной плот, пять жилетов, аварийный буй. Сигнал о вскрытии поступает вахтенному. Опытный глаз быстро нашёл кабель сигнализации, надо лишь его перерезать. Украсть скальпель в санчасти нереально. Осталась столовая. Кухонный нож. Годится. Решено. «Цепи сигнализации европейских кораблей выполнены по однопроводной системе с напряжением 110 вольт и работают на замыкание цепи...» Всё, как по учебнику.

Во время ужина Юра, будто нечаянно, на свой поднос вместе с ложками и вилкой положил два сервировочных ножа. Один из них незаметно переключился в карман. Сразу после ужина и осуществил задуманное. Обмотал полоской столовой клеёнки ручку ножа для изоляции и выполнил задачу без сучка и задоринки. Уже через несколько часов стемнело. Далеко на восточном горизонте замигали огни. «Так это что – Лиссабон? Испанский берег? Португалия!»

Юра быстро связал протез и костыли. Жилеты были со светоотражающими полосками. Он вытащил буй, отрезал на нём питание, закрепил костыли и выбросил за борт. Следом выпрыгнул сам.

Когда покидаешь борт таким образом, самое главное – чтобы тебя не затянуло винтами. Поэтому надо оттолкнуться, как можно сильнее. Сделать это трудно, а одноногому – ещё труднее. Но ему повезло! Да ещё как повезло! Такое везение можно сравнить разве что с божьей милостью. Если бы он опоздал ещё на два часа, уже ничего исправить было бы нельзя.

Луна только поднималась: начинался прилив. Течение несло Юру к берегу. Да и он плыл изо всех сил. Особенно после того, как увидел катер, который нёсся на предельной скорости к только что покинутому Юрой английскому кораблю.

Глава 5. Глухонемой мастер-калека

Выбравшись на каменистый берег, Юра стал искать временное убежище. Надо быть готовым ко всему. Вот-вот начнётся отлив.

– Хвосты надо отрубать вовремя!

– Есть, товарищ подполковник!

Отмотал проволоку, освободил буй и толкнул его подальше, предварительно надрезав с одного края английским столовым ножом. Волны подхватили добычу и, обняв могучими волнами, унесли обратно в море. Юра прополз по каменистому берегу ещё с десятков метров и, добравшись до двух огромных камней, заполз в маленькую уютную пещеру, где и вздремнул, точнее, отключился от усталости.

Очнулся от звуков сирены пограничного катера. Оказывается, эти идиоты в поисках Юры прочёсывали прибрежные территориальные воды чужой страны. Но граница – святая линия. Она охраняется законом. И никто не вправе

её нарушать. Друг за другом ушли две ракеты. А дальше – как в песне: «Вдали пожар и смерть, удача – с нами!» Право, радоваться чужому горю нехорошо. Но что поделаешь, нет худа без добра.

Юра проснулся с первыми лучами солнца, внутреннее чувство подсказывало ему, что всё позади. Только неясно, откуда такие предчувствия. Он в чужой стране, без документов, денег и вообще нелегально. Допустим, он обратится в посольство, что скажет – правду? Тогда он преступник. И не просто преступник, а международный террорист. Пожалуй, единственно верный путь – стать невидимкой. Глухим, немым, безликим. Таких много в любой стране.

Итак, в путь! Юрий Васильевич надел протез, взял костыли и пошёл навстречу неизвестности. Но во всём можно найти рациональное зерно. Ведь оказаться здесь – лучше, чем быть прикованным к цепи. Да и домой – вряд ли есть смысл возвращаться. Если взорвали те, кто стрелял, значит, был приказ уничтожить его группу как ненужных свидетелей.

Ещё в детдоме Юра познакомился с глухонемым парнишкой. Многие его жесты хорошо запомнились ему. Теперь это кстати. У жестов нет национальности.

Юра уходил по заросшей травой обочине всё дальше и дальше от берега. Когда возле него остановилась машина, он вздрогнул, повернулся. Вышел молодой мужчина, пересадил жену на заднее сиденье, к детям, было понятно, что хочет помочь. Юра с трудом сел в машину, сняв протез. Дети с заднего сиденья смотрели и шептались между собой. Наверное, они впервые видели человека без ноги.

Ехали долго. Юра, усталый, голодный, вздремнул. Остановились на заправке. Решив выйти по нужде, он надел протез, взял костыли. Но когда вернулся, их уже не было. Что ж, никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.

– Уныние – удел слабых.

– Да, товарищ подполковник.

Солнце уже клонилось к закату. Подъехала красивая машина с открытым верхом. Вышла элегантно одетая молодая женщина. Вставила заправочный пистолет и пошла к окошку. Может, боялась испачкаться, может, просто не умела – но пистолет под напором бензина из горловины выпал. Юра бросился к машине, сумел остановить колонку. Большая лужа бензина растекалась по бетонным плитам и медленно впитывалась через щели и трещины. Испуганная женщина, скороговоркой поблагодарив, сунула ему приличную сумму. В этот момент к заправке свернула другая машина. Юра ещё издалека заметил сигару у водителя и изо всех сил поспешил навстречу. Успел. Машина остановилась метрах в тридцати от лужи. Прибежал, задыхаясь от волнения, пожилой оператор-заправщик. Когда недовольный водитель наконец всё понял, то изменился в лице. Он оказался местным фермером и в благодарность оставил целый ящик спелых, красных помидоров.

Позже, когда Юра стал понимать по-испански, узнал: оказывается, многие ехали именно к этой заправке специально, чтобы показать детям, как

трудится глухонемой, да ещё безногий человек. Но это было потом. А в этот вечер они вдвоём – Юра и заправщик – дружно подмели заправку, всё почистили и вытерли. После ужина Юра там и остался. Дворником при заправке. На целых полгода.

В течение дня он подметал территорию, вытирал окна, протирал стёкла машин. Естественно, водители платили, он не отказывался.

Насколько велико было удивление хозяина заправки, когда вечером Юра принёс все деньги в кассу. Хозяин оказался хорошим человеком: помог ему с документами. Сделать это было просто невозможно, но удалось найти лазейку в законе и получить условное удостоверение личности. Это позволило оформить его на работу, дать право на жильё. Так Юра стал почти гражданином Португалии. Хозяин дал ему комнату, недалеко от заправки, где у него был ещё и небольшой автосервис.

Юра просыпался рано, выходил во двор и делал утреннюю гимнастику. Выходил он без протеза, в футболке и трусах, качался на турнике, ходил на руках. В завершение давал круг вокруг двора. Он часто замечал, как за ним подглядывают. Если смотреть со стороны, казалось, что он действительно бежит, только почему-то перебирая руками верхушки забора. Потом он умывался, завтракал, надевал спецовку и принимался за работу. Подметал возле дома, автосервиса, потом шёл к заправке. К тому времени он изготовил себе новый протез – с коленным шарниром. Даже стопа была как настоящая. Ребята из автосервиса помогали, чем могли. Юрий Васильевич постепенно научился обходиться без костылей. Его успехам радовались все, особенно хозяин. Ещё бы! Ведь с появлением Юры у него от клиентов отбоя не стало.

Несколько лет жизни в этой тихой и спокойной стране, возможно, были бы самыми счастливыми в жизни Юры. Но всё чаще он видел во сне белые берёзы, живописные берега Волги-матушки, вспоминал старый дом отставного подполковника, яблони, чьи ветки гнулись от тяжести спелых плодов. Там Родина. Там его корни, его прошлое...

В один прекрасный день Юра услышал на заправке родную речь. Сам того не ожидая, он подошёл и протянул руку:

– Здорова, земля что ли?

– Ты что, русский?

Родной язык ласкал уши, ожило какое-то необъяснимое чувство, доселе дремавшее в потайном уголке его души.

Глава 6. Домой!

Родная речь. После стольких лет немой жизни впервые произнесённые слова...

– У нас ведь теперь перестройка! Свобода! Демократия! Возвращайся смело! Кто тебя, инвалида, преследовать будет! Да и не до тебя им, властям. У всех на уме одно – приватизация.

В общем, Юра улетел в Союз.

Он смотрел в иллюминатор и улыбался. Белые облака стелились до самого горизонта, как символ чистоты и бескорыстия. Он невольно закрыл глаза и начал строить планы на будущее.

На таможне у Юры потребовали снять протез для досмотра. Вернули только через четыре часа – в разобранном виде. А чтоб собрать, даже элементарную отвёртку отказались дать. Когда протянул руку, чтобы забрать алюминиевые стойки протеза, какой-то придурок, позарившийся на цветмет, кинулся в драку. Драка была короткой: Юрий Васильевич схватил его кисть левой рукой и сжал. Глаза у смельчака выкатились, как фары на Запорожце. Он сам согласился собрать протез. Но подлым людям верить нельзя. В следующее мгновение на руках Юры сомкнулись наручники. Ударом в затылок его сбили с ног и принялись избивать. А в завершение тот самый придурок схватил основу протеза и с криком: «Ах, тебе нога твоя нужна? Получай!» – ударил по кости левой ноги. От перелома Юра потерял сознание.

– Страшно не тогда, когда враг перед тобой. Страшно, когда враг среди своих.

– Так точно, товарищ подполковник!

Юра очнулся на бетонном полу в одиночной камере. Всё тело болело. Открытый перелом ноги имел явные следы заражения, костный мозг разорван, стопа и пальцы не чувствуют. В этот момент он уже понимал, что нога безнадежна. Лишь бы успеть до гангрены. Он порвал на бинты рукава рубашки и практически без обработки забинтовал.

Глава 7. Допрос

Юру, избитого, без протезов, притащили и посадили на табуретку. Комната допросов была небольшая: два с половиной на три метра. Пол, стены – обиты резиной. Единственная мебель – стол, и тот прикручен к полу. Сняли наручники. Вопросы задавал капитан – совсем ещё молодой, жаждущий повышения. Два лейтенанта стояли позади в позе гестаповских полицаев: широко расставив ноги; с заведёнными назад руками. Среди трёх амбалов Юрий Васильевич казался маленькой букашкой, которую вот-вот раздавят.

– Ваше настоящее имя, фамилия?

– Коваль. Юрий Васильевич. Майор спецчасти № ннн.

– Майор Юрий Васильевич Коваль погиб в 1978 году при исполнении служебного долга перед Родиной. Кто вы, на кого работаете?

– И где же я похоронен? А ребята мои Иванов, Петров, Сидоров? А снайпер Сироткин, который погиб тогда? Кто его напарник?

– Здесь вопросы задаю я! Отвечайте, кто вы?

– Это действительно я. Взрывной волной меня отбросило. Я был ранен. Позвольте мне встретиться с моим непосредственным начальником подполковником Грибовым.

– Не позволю!

– Доложите тогда подполковнику Грибову о возвращении майора Ковалья!

– Лейтенант, доложите генералу Грибову, – капитан ехидно улыбнулся, предвкушая зрелище.

– Я рад, что его повысили. Я выжил благодаря его наукам.

– Да кому ты нужен, калека безногий. Руки оторвать – совсем колобком станешь.

Второй лейтенант, который остался, ехидно усмехнулся и добавил:

– Разве что детей пугать.

Зря он это сказал. Ох, зря. Но слово – не воробей. Вылетело – не поймаешь...

С грохотом открылась кованая железом дверь, появился генерал Грибов.

– Встать, когда старший по званию заходит!

Эти слова были последней каплей в чашу терпения. Но майор держал себя в руках. В этот момент он уже понимал, что остался один вариант – принять бой. А значит, действовать молниеносно и точно: другого шанса не будет. Он попытался подняться, но разбитая левая нога не могла удержать, и он невольно опустился обратно...

– Лейтенант! Поставьте этот кусок мяса по стойке смирно!

Ехидно ухмыляющееся лицо генерала было в шаге от Юры. Лейтенант уже протянул руку, чтобы схватить и поднять, как требовал генерал, но не успел. Железная хватка левой Юркиной руки изменила всё. В следующее мгновение обмякшее тело лейтенанта с вывернутой шеей уже упало к ногам генерала. Тот нервно вытащил пистолет – и... ошибся. Крепкая рука чуть изменила направление: генеральская пуля попала прямо в голову молодого капитана. Теперь уже вечно молодого капитана...

Юра молниеносно переметнулся на спину своего наставника. Генерал оказался полностью под властью Юрия Васильевича.

– Я говорю – ты слушаешь. Лишнее движение – ты труп. Я спрашиваю – ты отвечаешь. Обманешь – ломаю пальцы. Всё понял?

– Дддд-ааааа...

– По уставу, тварь, отвечай!

– Так точно...

В это мгновение прибежали два солдата. Иного варианта не было. Прозвучали два выстрела. Стечкин – пистолет безотказный. Юра, как великий кукловод, подчинил своей воле каждую клеточку генеральского тела.

– За что мою группу?

– Мне приказали...

– Ответ неточный! – Юра до треска сжал генеральский палец...

– убрать свидетелей...

– Обойма есть?

– Две. Одна в левом кармане.

– Всё будет нормально – выживешь. Совершишь ошибку – шансов не будет. Ты и так уже троих... Пистолет твой – стрелял ты... Всё понял?

– Так точно...

– Выйдем вместе. Вызовешь журналистов. Это – твой единственный шанс. Не заставляй меня тебя убивать. Мне нужны твои ноги.

– Ты не выберешься – тебя снайпер на выходе снимет...

– Не беспокойся за меня. Я не один. Есть ты... Так что умрём вместе, мой генерал.

Юра был как рюкзак на генеральской спине, как всадник, слившийся со скакуном. А генерал – его руками и ногами. Только не головой...

Длинный коридор вёл к выходу, дверей с обеих сторон было много. Надо быть начеку. Надо совершить невозможное – выйти из этого осинового гнезда живым. Грибов, полностью подвластный Юре, даже дышал с ним в унисон.

Застывший от страха на середине коридора третий солдат убежал назад. Медлить было нельзя.

– Вперёд! На выход! Прикажешь бросить оружие, обеспечить транспорт. Как нас учил, так и поступай. Любая ошибка – последняя. Для обоих.

Вышли. Генеральская чёрная «Волга» стояла в трёх метрах от крыльца. После второго шага рука Юры автоматически поднялась вправо-вверх. Прозвучали два выстрела. Чутьё не обмануло. С крыши четырёхэтажного здания конторы с грохотом упала СВД у самой стены. Спустя секунды, приземлился и хозяин с пробитой головой. Так и не выполнив своё последнее задание.

Грибов был человеком твёрдым и потому не любил чехарду кадров. Водитель и телохранитель у него был тот же, что и семь лет назад. Он узнал Юру. Взгляды их сомкнулись, оба всё поняли. В следующее мгновение все трое были уже в машине и мчались в южном направлении. «Ты спросил, кто Сироткина... Ты сбил его напарника. Снайперы долго не живут...»

События эти совпали с другими не менее важными: в стране началась политическая неразбериха. Через неделю никто уже не вспоминал ни о выстрелах, ни о Юре, ни о генерале, подавшем в отставку... и тем более о событиях семилетней давности. Осталась только неподъёмная ноша боли. Как будто кто-то украл его жизнь.

* * *

Вот и всё, повесть дописана. Как будто груз неподъёмный упал с плеч. Я отдал долг Юрию Васильевичу и вечно живому «товарищу подполковнику», истинным сынам Отечества. И в моей жизни были моменты, когда не оставалось ни единого шанса, и я прижимал дуло к виску. И тогда я слышал:

– Надо жить! Выжить надо! Будь сильнее!

– Есть выжить! Есть быть сильнее! – отвечал я, вытягиваясь по стойке «смирно».

А седой подполковник улыбался...

Он всегда радуется моим успехам.

НУГЗАР БАШЕЛЕЙШВИЛИ, Грузия, Тбилиси

(Лауреат в номинации «Судьба»)

Нугзар Ревазович Башелейшвили родился в 1963 году в Грузии. По профессии архитектор. Автор двух сборников на грузинском языке и публикаций в грузинской периодике. Дипломант конкурсов «Русский Гофман» (2018), «Созвездие Духовности» (2017, 2018).

ПЁС СОЛОМЕННОГО ЦВЕТА

Страшно утомляет общение с людьми... В таких случаях обычно заводят собак, но я и собак не могу терпеть!..

Рассказ написал... О друге, который покончил с собой.

Отнёс в редакцию. Через две недели зашёл за ответом.

Редактор изволил взглянуть на меня, пока рылся в бумагах. Посмотрел на одну папку, прочитал фамилию.

– Такого я не знаю, – сказал и отбросил папку в сторону.

«И мою, наверное, так же отбросил, и меня тоже не знает...»

– Твоя фамилия?

Сказал.

«Почему на «ты»?! Моя внешность, наверное, до «вы» не дотягивает...»

– Это псевдоним, а так кто ты?

– Это сокращённая фамилия.

– И почему сократил?

– А это так важно?

– Нет, если хочешь, назовись Гитлером.

От злости я проглотил язык...

– В твоём рассказе всё ясно, но почему тот мужик повесился, я не понял.

«Если б понял, я бы удивился!.. Ты, безусловно, никогда не повесишься!»

– С современными писателями знаком?

– Не очень...

– Прочти их и постарайся подражать.

– Я описал подлинную историю, при чём тут подражание? И вообще, подражать разве хорошо?

Сухо отнял рукопись и вышел. В ту минуту я ненавидел всех и вся.

Я никогда не любил то, что делали все. Во времена атеизма часто ходил в церковь. Сейчас все стали религиозными, мода такая, и невольно атеистические мысли стали лезть в голову...

– Человек – это стадное животное, и подражание у нас в психике, – сказал однажды друг, тот, который повесился...

Почему вспомнил это?..

В конце моста сидел одноногий попрошайка. Я перешёл на другую сторону, почему-то неловко себя чувствую, когда прохожу мимо нищего. Украдкой посмотрел на него. Узнал соседа из последнего подъезда.

«А ногу когда же он потерял? Хотя уже полгода я домой не заходил...»

Настроение ухудшилось ещё более. Свернул направо.

И тут, в углу, сидела нищая...

Невольно остановился. Женщина была одета неподходяще тепло, рядом стояли разными тряпками набитые сумки.

Вдруг рядом резко затормозил «мерседес». За рулём сидел юнец в полицейской форме.

– Опять тут сидишь, твою мать! Чтобы духа твоего тут не было, быстро! – и плюнул. Машина с визгом улетела.

Женщина рассеянно смотрела безумными глазами.

Мурашки пробежали по телу, еле сделал шаг...

«Ещё молоко на губах не обсохло, когда годы прибавятся, каким станет?.. Могу представить, что творили друг с другом в тридцать седьмом, когда топить ближнего было почти узаконено».

Зашёл в пивной бар. Взял себе выпить, сел на свободное место в углу зала спиной к окружающим. Некоторое время сидел, как виноватый. Опустив голову, смотрел на собственные руки, которые почему-то дрожали, выпил залпом...

За спиной горевали о старом и вспоминали беззаботную молодость:

– Раньше не было миллионеров, зато не было и нищих. Сколько людей помирают с голоду или от болезни, или, вообще, от депрессии сами же кончают своё бессмысленное существование!..

Снова вспомнил друга... И он нередко говорил так же... Даже голоса с оратором у них были похожи.

– Страну бомжи переполнили, на которых всем наплевать, а раньше жили одной большой семьёй!

«Одной семьёй... Безумье... Когда все знают, у кого какое бельё... Не хочу в стадо!»

– Демократия – как наркотик, хочется всё больше и больше, – продолжал оратор, – потом она перерастает в анархию, и тут начинается мечта о железной руке...

Почему-то стало неприятно там находиться, я встал и вышел...

На улице было ветрено и моросило. Уже больше месяца почти каждый день идёт дождь! На пороге июль, а погода, как в марте. Почему именно у нас глобальное потепление превратилось в глобальное похолодание? Обиженно покачав головой, я направился к своему жилищу.

Это был маленький чулан рядом с гаражом. В него еле вмещались кровать и тумбочка. Однажды знакомый заметил меня выходящего оттуда.

- Ты что тут делаешь?! – разинул рот и вытаращил глаза.
- Живу...
- Как? А семья?!
- Ушёл...
- Да-а-а... Давно?
- Не очень...
- Ну, ну... – знакомый с насмешливой улыбкой удалился.

Раньше я сгорел бы со стыда, а тогда было на всё наплевать и, вообще, в последнее время я ничего не стыжусь. Даже, наверное, если с протянутой рукой встану у моста или голышом пройду по проспекту...

Уже полгода, как я ушёл из семьи... Боюсь возвращаться, стыдно. Это единственное, чего стыжусь...

Тогда пьяный вернулся домой... Поссорились... Помню, замахнулся... Помоему, даже ударил... Жена закричала и вдруг я услышал поражённый ужасом голос дочери:

- Папа, не надо, мне страшно!..

Окаменел от этого голоса. Встал на колени и крепко прижал её к себе, а она не успокаивалась... Как она, наверное, ненавидела меня тогда!..

Потеряв дар речи, я даже извиниться не сумел. Наутро ушёл, точнее, сбежал, пока дочка спала... Побоялся её глаз, переполненных, вероятно, презрением...

Однажды уже довелось видеть такие глаза. В школе учитель истории, человек, воевавший на Второй Мировой, с весьма пошатнувшейся психикой, возненавидел одного ученика. Пацан прекрасно учился, и, чтобы его завалить, он придумал контрольную работу с абсурдными вопросами. Типа такого: сколько орденов было у какого-то малоизвестного генерала. После уроков учитель оставил меня и сам продиктовал ответы... Не знаю, почему я согласился. Наверное, побоялся, чтоб и на меня он не положил глаз (я тоже был отличником, и жутко не хотелось портить отметки). В итоге я получил пятёрку, он – двойку... Помню его взгляд! Естественно, он обо всём догадался. До сей поры не могу простить себе... После школы тот парень попал в аварию и погиб. Вместе с огорчением почувствовал какое-то облегчение, думая, что эту тайну он унесёт с собой в могилу. Не унёс...

Приснился друг детства. Будто сидели у меня на даче и пили красное вино.

У меня был домик за городом. Я построил своими руками на участке родителей, когда был студентом. Любил сидеть там, размышлять о разном и писать... Чтение для меня – утомительный труд. Не терплю развлекательную литературу, а после серьёзной книги так устаю, словно на крышу небоскрёба поднялся пешком! Писать – другое дело. Когда пишу, будто освобождаюсь от

чего-то тяжёлого и успокаиваюсь на время. Из тогдашних записок ничего не сохранилось. В один прекрасный день всё собрал и сжёг...

В том домике на стене у меня висели дедовские сабля, кинжал и плеть, две старые репродукции, которые покупал он же, а на столе стоял его граммофон. Эти вещи пахли стариной и создавали неопишимо возвышенную обстановку. Были ещё и книги, в основном, купленные мной: дорогие редкие издания. И старое кресло-качалка, в котором сидел и утопал в раздумьях...

Друг тоже любил мой домик, не знаю, обстановка привлекала или красное вино (отцовское красное всегда у меня было).

Однажды в домике не оказалось тех, дорогих для меня вещей! Я почувствовал страшную пустоту... Лучшего ничего не придумал – пошёл к другу выпить. У друга при виде меня странно изменилось лицо. «Физиономия у меня гадкая...» – подумал я тогда.

Выпили... Он пил мало.

– Зачем понадобилось тем ублюдкам то старьё?! Ему же грош цена, оно только для меня дорого... Лучше бы дегенераты взяли книги, хоть продали бы неплохо...

– И ты хорош! Почему держал те вещи в каком-то домике, тем более за городом?! – блеснула умом то ли жена, то ли любовница друга (по крайней мере, жили они вместе и она тоже любила выпить).

После того случая я не бывал в домике. Через пару дней отец сообщил, что мои книги и даже старое кресло-качалка тоже исчезли. Вдруг вспомнилось странное лицо друга, его встревоженный взгляд... Не хотел верить, но кроме друга никто не бывал в моём домике и никто не знал, что там находилось. Тем более, его жена (или любовница) позвонила и сказала, что два дня, как муж пропал, и спрашивала, не знаю ли я, где он...

Короче, после того дня пропал мой друг детства вместе с вещами моего деда... Недавно видел его жену-любовницу. Еле узнал: лицо распухшее, глаза красные... От неё несло алкоголем, она прошла рядом и не заметила меня... Или не захотела заметить...

Почему приснился друг, потерянный двадцать лет назад? Жив ли он?..

Часто снится семья... Особенно, дочка... Однажды приснилась наша свадебная ночь. Какой счастливый я был тогда!.. Чуть покрасневшее лицо жены, слегка смущённый взгляд, приятный запах её кожи, сладкий вкус губ, нежный стон...

Оргазм разбудил... Был весь в поту. В ту минуту стало всё безмерно противно...

Я вышел на улицу. Огромная луна висела над домами. Свернул в сторону моста. Взшёл на него, опёрся на перила и руками прикрыл лицо. Река тихо

шептала о чём-то, нет... плакала будто... Что-то тоскливое и горькое застряло в горле и вырвалось слезами. Я стоял и плакал... тихо, как река...

Рассвело. Почувствовав невыносимую усталость, я вернулся в свой чулан и заснул мертвецким сном...

Проснулся уже за полночь... Купил бутылку и выпил без передышки. Продолжил путь пешком. Была прекрасная погода и на душе стало чуть полегче.

У книжного магазина послышались крики и ругань: несколько молодых людей беспощадно колотили рукоятками револьверов одного парня.

– Держи за руку, чтоб ствол не достал!..

Я остолбенел... Эти сопляки не щадят друг друга! И у всех оружие... Днём, в центре города... О, Боже! Богатые папочки погубили этих ублюдков...

Раздался выстрел... На миг все затихли. Потом кто-то застонал.

– Ранен... Быстро подгони машину!..

Раздался рёв мотора и визг покрышек...

Скоро всё опустело, осталось только большое кровавое пятно на асфальте...

Я стоял, как прежде, почему-то разозлённый на самого себя... Потом медленно направился к своему ночлегу. У зоопарка остановился. Сел на скамейку и тупо стал следить, как менялись цвета светофора. Зелёный... Жёлтый... Красный... Опять жёлтый...

Вдруг ощутил чей-то пристальный взгляд. Обернулся: пёс сидел на задних лапах и с интересом разглядывал меня, при этом он так забавно перекидывал голову то в одну, то в другую сторону, что я невольно рассмеялся.

Пёс не отрывал от меня взгляда, он смотрел именно в глаза. Наверное, в прошлой жизни, когда он был человеком, знал меня...

Почему-то показалось, что эта чушь могла быть правдой, и стало как-то не по себе.

Рядом женщина продавала булочки. Купил две, одну вроде бы для себя. Оторвал кусочек и кинул псу. Пёс в воздухе поймал, проглотил и опять уставился.

– Молодец! – развеселился.

Ещё кинул, но подальше. Пёс с удивительной быстротой развернулся; как опытный акробат, вспрыгнул и опять в воздухе словил... В общем, долго развлекались... Пёс был довольно большой, видимо, ещё молодой, весьма красивый, с длинной шерстью соломенного цвета.

В конце я погладил его по голове и пошёл к себе. Пёс последовал за мной. В его движениях ощущалось величие, даже джентльменство, будто его специально этому обучали. Уличные собаки беззвучно и будто с уважением провожали пса взором, очевидно, с ними он уже давно выяснил отношения.

Зайдя в чулан, я прилёг. Пёс тоже лёг у двери.

Охранник появился – улыбнулся я.
Поздно встал. Пёс встретил у двери.
– Э-э! Ты ещё тут? – приласкал.
Собака с наслаждением прикрыла глаза.

Опять купил булочки, и мы позавтракали. Стали бессмысленно бродить по городу... Оказавшись на вокзале, вышли на перрон. Поезда приходили и уходили, но довольно редко.

Вспомнил старое здание вокзала. Почему взорвали? Что, другого места не нашли для нового здания? Старый вокзал был более родным, более естественным. Никак не привыкну к этому новому (хотя, к какому новому? Сколько лет уже стоит!). Кусочек чужого города, застрявший среди маленьких домиков: огромный, угрюмый, бледный...

Два полицейских прошли мимо и с подозрением посмотрели на меня. Почему у полицейских такой хищный взгляд?! Наденут форму и перестают быть людьми...

Тут, у вокзала, жил двоюродный брат... Удивляюсь, как в одной маленькой комнатухе помещались пятеро? Помнится, кроватей было всего две, на большее места не хватало... Закончив восьмой класс, мы с ним удрали на море. Тогда ещё старый вокзал стоял. Билетов не достали, спали на полках для матрацев.

На море познакомились с девочками и впервые познали сладость противоположного пола. Выдали себя за студентов, хотя у нас не было даже паспортов... После моря вместе с девчонками уехали в их город (за их же счёт, у нас деньги закончились), а домой отправили телеграмму... Короче, целый месяц жили, как короли!

Когда вернулся, отец долго не разговаривал со мной. Слишком быстро я для него превратился из ребёнка в мужчину, он казался растерянным: наверное, не знал, как ко мне подойти...

Бедные родители... Если б знал, что так рано уйдут, днём и ночью обнимал бы их... Двоюродный брат после школы уехал к тем девчонкам. Выпивка, женщины... Он подцепил туберкулёз, вернулся – кожа да кости... Выпивать не перестал, и тридцатилетний ушёл на тот свет...

Полицейские опять приблизились.

– Что тут делаешь? – спросили строго.

– Стою...

– Уже третий час стоишь, ноги бы в задницу не воткнулись! Ждёшь кого-то?

– Нет...

– У него не все дома. Документы!

– Почему, комендантский час, что ли?

– Смотри, издевается! А ну-ка пошли!

Взяли под руки и потащили.

– Что хотите, разве стоять запрещено? – попытался освободиться.

– Э-э!.. Сопротивляется даже! Тащи его, там узнает, что запрещено и что нет!

До тошноты не хотелось общаться с ними, всеми силами оттолкнул обоих, ускользнул и побежал...

Бежал вдоль железной дороги... довольно долго... Они тоже не отставали.

– Стреляй, ... его мать!

Звук выстрела не расслышал, свист пули и её глубокий след в бетонную стену потряс меня! Невольно встал. Почувствовал сильный удар в затылок, в глазах потемнело, я упал. Быстро очнулся, попытался встать, но ногой ударили в живот, и дыхание перехватило.

Послышался лай... Пёс соломенного цвета кинулся к ударившему, уронил на землю и вцепился в горло. Тот захрипел.

Раздался выстрел. Пёс бросился к стрелявшему. Револьвер глухо упал на гравий. Лежащий, держась за горло, привстал, он был весь в крови.

– ... твою мать! – и почувствовал, как хрустнули зубы...

На этот раз я действительно потерял сознание...

Прикосновение чего-то мокрого заставило очухаться. Еле открыл глаза. Увидел морду пса соломенного цвета: лицо мне облизывал...

Я попытался поднять руку, но рука не слушалась, я почувствовал жуткую боль и опять вошёл в темноту...

...Шёл по шпалам в тоннеле. Тоннель был весьма узкий, я удивлялся, как движутся тут поезда... Одна мысль напугала: допустим, поезд пройдёт, куда мне тогда деваться? Ни спереди, ни сзади конца не было видно! Рельсы заскрежетали: явно шёл поезд, но откуда, я не знал. Вдруг появился пёс, схватил за одежду и потащил. Я с трудом бежал, шум поезда постепенно приближался, но видно его не было. Я чувствовал, что меня вот-вот задавит, но пёс сильно дёрнул и забросил меня в какую-то нишу... Поезд с грохотом пронёсся мимо...

Приоткрыл глаза. Я лежал у железной дороги. Мимо с грохотом действительно шёл огромный состав. На левом плече у меня лежала голова собаки соломенного цвета. На груди почувствовал мокроту. Посмотрел – вся одежда была красная...

Холод пронёсся с головы до ног. Я медленно поднял правую руку и пощупал грудь. Боли не почувствовал... Освободил и левую руку. Присел. Пёс не шевелился. Я обо всём догадался... Что-то горькое пошло из желудка и вырвалось изо рта и носа.

Пёс был ещё тёплый...

Я услышал плач. Прислушался... Плакал я сам...

Почему-то застеснявшись, я оглянулся. Неподалёку стояли полуразрушенные домики, ограждённые ветхими заборами.

До конца не осознавая, что произошло, я почувствовал, что случилось нечто важное, что должно было в корне изменить мою жизнь...

Уже темнело. Я встал, подошёл к ближайшему дому и позвал хозяина. Собственный голос показался мне странным и чужим. Язык распух, и острые остатки сломанных зубов мешали разговаривать...

Долго никто не выходил. Потом выглянул мужик в одних трусах.

– Лопату одолжите, пожалуйста, собаку убили, я закопаю...

– Что?! – хозяин с тупым выражением лица смотрел на меня. – Нет лопаты! Ходят тут всякие! – и зашёл в дом.

Я начал искать, чем бы вырыть яму. Нашёл кусок арматуры, выбрал более-менее мягкий грунт. Земля с трудом поддавалась, из-под ногтей пошла кровь.

Всё-таки вырыл довольно глубокую яму. Осторожно перенёс туда тело собаки. Долго смотрел на это странное существо, которое из-за меня рассталось с жизнью, и подумал: было бы оно человеком, не поступило бы так... Потом засыпал землю и сверху положил большой камень...

...Было уже совсем темно. Я шёл узкими безлюдными улицами, чтобы окровавленной внешностью не привлечь внимания. Шёл домой...

Я шёл и безумно радовался... Знал, что страшно виноват перед ними, но всё-таки ощущал себя безмерно счастливым...

Я шёл домой!..

Было всё равно, как встретят – со злобой, с презрением или с любовью... Я обязательно преклонился бы перед ними и расцеловал бы им ноги! Если бы обругали и выгнали, я бы опять вернулся! Вернулся бы, потому что я их очень сильно люблю! Очень сильно... Сильнее не бывает!

Долго стоял у двери: боялся постучать, особенно боялся глаз дочери.

Дверь открылась сама, я и не прикасался...

На пороге стояла дочь...

Она испуганно вскрикнула...

У меня отнялись ноги, и я встал на колени... В глазах помутнело...

Я чувствовал бешеные поцелуи дочки, прикосновение её маленьких губ к каждой части лица, объятие её тёпленьких ручек вокруг шеи...

Когда туман в глазах рассеялся, увидел жену: она сидела у стены, и слёзы ручьём текли по её лицу...

Я тоже плакал: не знаю, от боли или от радости...

Но это было уже не важно...

Я был дома!..

НАТАЛЬЯ ЕРШОВА, Россия, г. Москва

(Лауреат в номинации «Судьба»)

Родилась в 1988 году в Москве. Закончила РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет) по специальности журналистика.

СПЛОШНОЕ РАССТРОЙСТВО

*Открыв глаза, я ужаснулся своему пробуждению
и всеми силами старался поспать ещё, чтобы
как можно дольше не начинать этот день,
который весь придётся прожить только для того,
чтобы завтра наступил ещё один точно такой же.*

П.В. Санаев. Похороните меня за плинтусом

Моя бабушка считала, что её жизнь прожита зря, и ничего хорошего она в жизни не видела. Ну, естественно, и я не увижу. Поэтому, раз уж я не умерла в колыбели, то как-то нужно отмучаться данный мне Богом срок. И уж об этом она позаботится.

Это утро, как и все бесчисленные утра до этого, начиналось с расчёсывания. Меня поставили перед зеркалом огромного стенового шкафа на маленькую, расписанную красными птицами табуретку, а бабушка бегала вокруг меня и пыталась распутать заплетенные ею же вчера косички. Косичек она заплетала много и завязывала их тоненькими резинками для денег, при снятии которых половина волос оставалась в бабушкиных руках. Бабушка говорила, что без такой своеобразной укладки на меня «смотреть тошно».

– Волос у тебя совсем нет, – причитала бабушка, – и бёдра не круглые. Вот Алёнка, вот же девочка красивая, коса с мою руку толщиной, – бабуля совала мне под нос свою сморщенную руку, – а у тебя то что? Три пера торчит. У всех всё самое плохое взяла из рода. Вот есть у кого какой недостаток, так все в себя вобрала! – бабушка продолжала причитать, а я погружалась в свои мысли, в которых я мечтала оттащить эту самую Алёнку за ту самую косу в руку толщиной.

Потом был завтрак. Нужно отдать бабушке должное, она очень старалась, чтобы я получала только лучшее, и она делала для этого всё возможное и невозможное. К примеру, мороженое она мне подогревала на сковороде.

Сегодня на завтрак был творог и манная каша. Я деловито размазывала её по тарелке, стараясь есть, только когда бабушка видит, и надеясь, что она скоро уйдёт с кухни, и я смогу как-нибудь незаметно избавиться от ненавистой каши.

– На, ешь, что ты ковыряешься?! Ешь давай! Я за этим творогом весь рынок вчера обегала, с ног сбивалась, а ты морду корчишь.

Тут в комнате жалобно взвыл телефон – и бабушка кинулась к нему.

– Да, собираемся уже. Что? Ага, да ест она. Что вы, Клавдия Сергеевна, это такая мука, такое наказание этот ребёнок. Всё я для неё, а она ничего не ценит. Ой, что вы? Да какая она маленькая-то? Всё понимает уже, просто за дешёвые игрушки, купленные ей матерью, всё продаст, а я всё ей самое лучшее отдаю. Вроде родная внучка, но не моя кровь в ней, вот не моя. Так же, как и в матери её, всё по дедовской линии собрали, и жестокость свою, и наглость! Что? Уходите уже? Ну, мы тоже собираемся. А, ну, до свидания, Клавдия Сергеевна, до свидания!

Тут я снова услышала тренькающий знакомый звук – бабушка набирала ещё какой-то номер. Ну, я и решилась. Тихо встала, одним глазом поглядывая в коридор и прислушиваясь к мерно бубнящему голосу бабушки, взяла тарелку с кашей и на цыпочках направилась с ней к окну. Тут меня постигло разочарование – на форточке была засиженная мухами сетка, а нижняя створка окна так и не желала открываться. Я несколько раз дёрнула посильнее – безрезультатно. Ещё раз попробовала ненавистную кашу. За последние несколько минут её вкусовые качества стали только хуже, и я отчаянно пыталась разжевать комки сухого молока, застревавшие у меня в зубах.

Тут я вспомнила о бабушке. Оказалось, она уже заканчивала и этот разговор и желала кому-то «счастья, любви, здоровья и всего, чего есть хорошего в жизни». Я схватила ложку со стола и в панике начала сгребать кашу с тарелки прямо за кухонное кресло, точно зная, что бабушка его почти не отодвигает и никогда ни о чём не догадается. После чего кинулась к раковине и бросила туда ненавистную посудину. Когда бабушка вошла на кухню, пустая и практически вылизанная тарелка грустно посмотрела на неё розовым цветочком из пожелтевшей раковины. А я деловито ковыряла чуть менее ненавистный творог.

– Что, всё съела? И куда в тебя столько влезает? Не впрок все мои труды идут. Ух, худющая. Это всё потому, что бегаешь много, пацанка невоспитанная, девочки не должны бегать. Видела Машеньку? Она вот не бегает, настоящая леди, не то что некоторые. Ладно, всё, пошли одеваться! Да оставь ты свой творог уже, не в коня корм!

Бабушка всегда меня одевала, как маленькую принцессу, но сегодня был какой-то особенный случай, и я должна была выглядеть, как она сказала, «празднично». Бабушка с гордостью достала из шифоньера запакованное в шуршащий пакет пышное жёлтое платье.

– Смотри, что мать тебе привезла! На мои деньги куплено, это тебе подарок на день рожденья от меня.

– Баба, а разве у меня день рожденья не осенью?

– Осенью, конечно, но бери, когда дают.

И бабушка стала на меня натягивать платье. По ходу я пыталась его рассмотреть. Юбка была очень пышной, а на талии огромный бант, я хотела его развязать, бант не поддавался, а бабушка, заметив это, огрела меня по рукам.

– Чего тянешь-то? Порвёшь сейчас всё!

Тут снова заверещал телефон, и я осталась наедине со своим новым платьем. Хотя в этом доме, как и в любом другом, у меня не было и быть не могло ничего своего. Мне часто дарили подарки «на вырост» или «это тебе на будущее, не по возрасту ещё». А как-то бабушка подарила мне цепочку, красивую, цвета солнечного лучика, и даже дала мне с ней поиграть. Но через несколько минут отобрала её у меня.

– Ну, всё, налюбовалась, отдай! Я её уберу, и вот вырастешь, я умру уже, и приедешь, и заберёшь всё. Всё тебе тут достанется. А пока маленькая ещё, не нужны тебе такие вещи.

И лучик исчез в морщинистых бабушкиных руках, а потом сгинул на дне бесчисленных коробок и коробочек в пасти гигантской стенки.

Но всё-таки я продолжала рассматривать «подарок». Верх платья был вышит золотистыми кругляшами, как чешуя золотой рыбки, а юбка была пышная-препышная. Я дотронулась до неё, ожидая, что она будет мягкой, как вата. Но юбка больно укусила меня за палец. Я обернулась на бабушку. Я совсем не хотела надевать на себя кусающуюся юбку. Но бабушка всё ещё говорила по телефону.

– Да, Вера Анатольевна, травят меня, сил нет. Сегодня, пока Ниночка спала, я в милицию бегала, заявление писала! Ой, да какое первое, если бы, Вера Анатольевна! Как к себе на работу в милицию хожу, а они смеются надо мной, говорят, сумасшедшая бабка-то. Надо мной, над учёным – смеются! Вот изверги, да они тут все мафия. Все заодно! А, что говорите? Да, все они продажные, конечно, сволочи. Но сегодня вроде новый участковый заступает, говорят, молодой, только после учёбы, может, его ещё не перекупили. Вот к нему и пойду! Нет, ну, конечно же, Верочка. Я же не клевету говорю, а только факты голые и не придумываю ничего. Вот запах есть же, есть! – и стояк от их наркотического производства постоянно греется! И стена вся горячая постоянно, от их испарений гнойных! И уксусом пахнет! Огурцы солят, говорите? Да кто ж солит огурцы в феврале месяце? Мафия тут, Вера Анатольевна, мафия, и все они заодно и против меня. Ой, идти нужно? Ну, спасибо вам за сочувствие, за добрые слова, до свидания, Верочка, до свидания!

Положив трубку, бабушка на секунду замерла и как будто бы смотрела сквозь меня. В последнее время она часто так замирала, и тогда до неё нельзя было докричаться и даже подергать её за рукав не помогало. Один раз она так до черноты сожгла кастрюлю с супом, вот кричала она потом, а запах был ужасный, и ещё несколько часов я сидела завёрнутая в одеяло, а бабушка бегала и проветривала квартиру. И вот, наконец, она пришла в себя и обернулась!

– Что ты стоишь, как истукан? Одедась бы сама уже. Что, бабка старая тебя одевать вечно должна?!

И с этими словами она направилась ко мне. Последовала непродолжительная борьба с молнией. Бабушкины пальцы никак не могли ухватить маленькую непослушную собачку.

– Вот один раз попросишь мамашу твою купить самой вещи, так купит же, чтоб бабка мучилась! Кто такое покупает?! Хотя вроде фирма же! Пума какая-то. Видишь, и фирмы теперь выпускают говно такое, что не разберёшься с ним. А денег стоят кучу! – и мне суёт под нос ярлычок, где разноцветными буквами было нарисовано загадочное «PUMA». – Видишь, как бабка для тебя старается?

Наконец-то молния поддалась, и бабушка водрузила на меня платье, оно было жёстким и колючим!

– Баба, кооооолется! – заныла я.

– Потерпи, зато удобу твою скрывает ужасную! Ноги твои, как у Буратино. Терпи! Вот у меня не было таких платьев, и всё равно первая красавица была, и школу закончила с золотой медалью. А с тобой мучаешься, мучаешься, а ты какая была дурная, такая и осталась.

И тут бабушка начала принюхиваться. Я уже знала, что сейчас бабушка будет кричать и спрашивать меня, чем пахнет.

– Чувствуешь? Опять этот запах пошел. Вонь-то какая! Сволочи! – с чувством выплюнула бабушка. – Что молчишь? Чувствуешь, как пахнет?!

– Чувствую, – я не знала, что должна почувствовать, но с бабушкой нужно было соглашаться.

– Ужас какой, ладно б меня старую одну травили, но ребёнка-то они за что травят? Сволочи!

Бабушка заметалась по квартире, как будто бы забыв про не застёгнутое у меня на спине платье, сдирая со своей головы бигуди и бросая их то на кровать, то на пол.

– Что стоишь, как неприкаянная? Иди туфли одевай!

– Туфли?

Мне это показалось странным: ведь на улице была метель. Но в таком состоянии с бабушкой было лучше не спорить.

Я пошла в коридор и надела лаковые туфельки, которые обычно переодевала в группе.

В детский садик я не ходила. Бабушка хотела сама заниматься моим воспитанием. Да и в саду дети все плохие, беспризорники разные. Я не знала, что такое беспризорники, но бабушке верила.

Зато я ходила в развивающую группу, там мы лепили, рисовали, учились читать и многое-многое другое. А ещё там были другие ребята, с которыми мне было позволено общаться и даже играть. А добрая воспитательница разрешала мне бегать втайне от бабушки.

Когда туфли были уже надеты, бабушка ворвалась в прихожую и начала натягивать на меня пальто, колючий шарф и шапку.

– Всё, выходи в коридор! Не дыши этой гадостью! Ух, сволочи! Отравители! – бабушка продолжала бубнить что-то себе под нос, а я вышла в подъезд. Вечность назад он был выкрашен в сине-серый цвет, а теперь краска взбухла и кусками отваливалась на потрескавшийся кафельный пол. На подоконнике стояли жестяные банки из-под дешёвого кофе, когда-то

служившие Ваське-алкашу пепельницей. Рядом мёрзли обречённые на смерть цветы. Пахло табаком и холодом.

Через минуту бабушка вывалилась за мной.

– Всё, пошли! Быстро! Отведу тебя в группу и снова в милицию пойду, пусть уже приходят поскорее и разберутся с этими гадами!

На первом этаже нас окликнула соседка:

– Марина Владимировна, вы куда это так рано? Опять в милицию?

– Не ваше дело!

– А что ж, Ниночка в летних туфлях по снегу пойдет?

Бабушка в ужасе посмотрела на мои ноги. Подхватила меня на руки и, пользуясь мной как тараном, вышибла примёрзшую дверь подъезда.

Улица нас встретила мокрым снегом.

– Ты что, дура? Сама одеться не можешь нормально? Что ты меня перед соседями позоришь? Туфли одела, да зимой, где это видано?!

– Ты же сама сказала их одеть!

– Не могла я такого сказать! Врёшь ты всё! Такая же, как твоя мать, где ошибётся, так я виновата у неё! Опозорила меня, ой опозорила!

По счастью, до ДК, где занималась моя группа, было недалеко, всего в паре кварталов. Бабушка обмотала мне ноги своим шарфом и уже через минуту поставила меня на пол в пустом каменном зале ДК, где на нас сонно взирала раскормленная гардеробщица.

– Пальто давай сюда, повесим! Сменку тоже переодевайте!

– А мы уже переодетые, – сказала бабушка, – с машины только вышли.

Гардеробщица подозрительно на нас посмотрела и вместо пальто отдала мне прозрачный номерок, который бабушка тотчас же забрала себе.

– Всё, иди в группу, заберу тебя после обеда! Иди, а не беги!

И я степенно пошла вверх по гулкой лестнице. Потом остановилась за облезлой колонной и начала маршировать на месте, надеясь, что бабушка скоро выйдет за дверь – и я смогу пробежаться по длинному-предлинному коридору прямо до своего класса. И вот я услышала, как хлопнула входная дверь, ограждая меня от бабушкиного гнева. И я собрала все свои силы и побежала по коридору, как можно громче топая своими лаковыми туфельками и вкладывая в каждый шаг всю мою радость от ожидания рисования, лепки, а главное – игр. Я перепрыгивала через вздувшийся огромными горами линолеум и рваные куски бетона. С разбегу проскальзывала на каблучках каждый поворот. Таким образом мои туфельки оставляли длиннющие чёрные полосы на желтоватом линолеуме, которые, как я потом узнала, очень не понравились моей воспитательнице. Но это было потом! А сейчас я бежала, и наслаждалась, и представляла, как я прыгаю не через горы линолеума, а через самые настоящие горы, реки и овраги, и даже через машины, и могу запрыгнуть на ходу в самый быстрый-пребыстрый поезд и уехать туда, где не будет манной каши, ежедневных расчёсываний, а главное – бабушкиного гнева.

И вот заветная дверь, обклеенная клеёнкой под дерево. Я влетела в неё с размаху. В классе уже было несколько детей. Сегодня мы лепили. Нас посадили

за столы, расставленные по кругу, и в этот раз я оказалась напротив странного мальчика, который всё время ел пластилин. Как-то я слышала, что Антоша особенный и здесь он только потому, что он сын одной из воспитательниц, хотя он должен был учиться в какой-то специальной группе. Слово «специальная» очень заинтересовало меня. Оно было необычным, звучным. Интересно, какая это группа такая с таким красивым названием? Мне очень захотелось на неё посмотреть хотя бы одним глазком. Конечно, бабушка меня не пустит ни в какую такую группу, но, может, хоть посмотрю на неё. И я принялась отламывать маленькие кусочки от выданного нам перед занятием пластилина. Скатила его в небольшой шарик и положила в рот. На вкус он был еще хуже, чем бабушкина каша, но я уже очень хорошо усвоила, что все, что полезно, значит, невкусно, и стойко жевала свой кусок. Собрав все силы, я заставила себя его проглотить. Теперь подошла очередь второго куска – синего. И я уже потянула его ко рту, как ко мне подскочила воспитательница и отобрала его.

– И что с тобой делать теперь? Пошли звонить бабушке! Пусть приходит, разбирается. Если с тобой что-то случится, она же меня по судам потом затаскает.

Воспитательницу звали Лариса Михайловна. На мой детский взгляд, она была очень красивой, а вот бабушка звала её каким-то странным словом «проститутка». Я не очень понимала, что оно означает, но решила не говорить об этом воспитательнице.

Я шла, держась за её руку, по тому же длинному коридору, только теперь в другую сторону. От Ларисы Михайловны пахло чем-то сладким, и, в отличие от бабушки, она не тащила меня за собой, а просто шла рядом.

Мы подошли к огромному железному телефону, расположенному на этом же этаже. Воспитательница зашла в кабинку и долго там стояла, прижав трубку к уху.

– Не берёт твоя бабушка трубку, пойдём к медсестре.

К медсестре я идти не хотела. Она постоянно пыталась отправить меня на какие-то прививки, чего бабушка ей не позволяла. Медсестра ругалась с бабушкой, называя её сумасшедшей, и укладывала опасного вида шприцы обратно в железную тарелочку.

– Бабушка мне запретила ходить к медсестре без неё.

– Почему же, сейчас она тебя посмотрит – и пойдёшь играть дальше. Только не ешь больше пластилин. Хорошо?

– А бабушка сказала, что медсестра мне уколет ртуть! – выпалила я.

– Ртуть? Она тебе такое сказала? – воспитательница внимательно посмотрела на меня и вздохнула.

Мы уже подходили к приоткрытой двери медицинского кабинета. Оттуда струился влажный белый свет и пахло лекарствами.

Рыжеволосая дама что-то писала за столом, подперев подбородок рукой. Её я раньше не видела.

– А с этой что? – она подняла на меня голову.

– Пластилина наелась, – вздохнула учительница.

– Ну и ничего с ней не будет, где её карта? – рыжая неловко поднялась и подошла к огромному железному шкафу. – Фамилия какая?

– Степанова Н. Л.

– Эс, эс, а, ну вот же, – медсестра села за стол, листая небольшой картонный альбомчик. – А что у тебя прививки не сделаны? Отвод? – последнюю фразу она адресовала уже не мне.

– Не отвод, а бабушка запрещает прививки делать. Отказ написала. Типа ртуть в них.

– Ртуть? Хм, а это та самая бабка, которая на Советской живёт? Она там всех достала уже. Её дело делать прививки или нет, только вот если девочка заболит, спасти-то мы будем. Если спасём.

Я сидела на застеленной прозрачной плёнкой кушетке и болтала ногами.

– У тебя живот не болит сейчас?

– Нет.

– Ну, если заболит, так сразу скажи. Съела и съела, пластилин детский у нас. Не отравится. Беги в класс.

Я вышла из стерильного кабинета обратно в грязно-жёлтый коридор, бежать не хотелось. С каждой минутой я всё больше замечала колючее платье. Оно кусало и царапало мне ноги. Я медленно, так, чтобы поменьше задевать ногами подол, пошла обратно. Удаляясь от голосов:

– Где родители-то её?

– В Москве, работают, приезжают раз в месяц, а то и реже, подарки привозят. Бросили ребёнка на чокнутую бабку, а девочка смышлёная вроде, соображает.

– Ой, лет в пятнадцать-шестнадцать на неё посмотреть нужно, шизофрения, знаешь ли, наследственная. Если она не помрёт с такой бабкой раньше.

Я не знала, что такое шизофрения, и подумала, что это относится к внешности, как, к примеру, форма носа или цвет волос. Ни нос, ни волосы мне бабушкины не нравились, и я ещё больше расстроилась.

После обеда бабушка тоже не появилась. Зато я наконец-то узнала, зачем меня одели в это кусачее платье. У одного из мальчиков, у Олежки, был день рождения. Он гордо ходил от стола к столу, оставляя на каждом по несколько конфет. Потом мы всей группой его поздравляли. Играли в ручеек и в салочки, а потом ещё и в светофор. В завершение всего воспитательница выключила свет и поставила перед Олегом огромный торт со свечками. И он с первого раза смог задуть все свечи. Это было очень весело, и я даже забыла про гадкий пластилин, кусачее платье, ртуть и какую-то там шизофрению, которая у меня обязательно будет, если я до неё доживу.

А потом всё закончилось. Постепенно других детей забирали родители, а моей бабушки всё не было. Воспитательница тревожно поглядывала на одиноко тикающие часы.

– Пойдём, ещё раз твоей бабушке позвоним! Где же она?

И мы снова пошли по коридору вымершего здания. И снова бабушка не взяла трубку.

– Ниночка, вы там же на Советской сейчас живёте?

– Да, тут рядом совсем.

– Может, заснула твоя бабушка или забыла. Давай отведу тебя сама. Не могу я с тобой дольше тут ждать.

Мы спустились в гардероб. Он уже был закрыт, и свет погашен, как и во всём здании. За окном жёлтым светом мерцали фонари, и в их свете суетились снежинки.

Лариса Михайловна нашла моё пальто, шарф и шапку. И долго искала мои сапожки. Их не было.

– Наверное, сапожки твоя бабушка с собой забрала. Ладно, возьми вот эти, кто-то забыл их и так и не вернулся, – и, обращаясь к пустому залу за нашей спиной, прокричала:

– Костя, Костя, закрой за нами, мы последние!

– А, слышу, иду! – раздалось откуда-то из-за обшарпанных колонн.

Дверь захлопнулась за нами, и кто-то повернул ключ в замке.

– Ну, пошли, Ниночка. Если что, ты же помнишь, на каком этаже вы живёте?

– Помню.

Чужие сапоги мне были маловаты, и идти в них было неудобно и скользко, но всё-таки лучше, чем в туфлях. Да и минут через десять мы уже поднимались по грязной лестнице нашего подъезда на самый последний пятый этаж.

Лариса Михайловна нажала на дверной звонок, он звонко разнёсся по всему подъезду. Ещё и ещё раз.

– Нет её, что ли? Твоя бабушка могла куда-то пойти? Говорила она тебе что-нибудь?

– В милицию пошла, наверное. Она и с утра туда ходила.

– Что теперь делать, даже не знаю.

Лариса Михайловна нервно полезла в сумочку.

– Ниночка, постой тут немного. Сейчас я у окошка постою, бабушку твою повысматриваю. – Она всё-таки справилась с дрожью в руках и, достав небольшую белую коробочку из сумки, спустилась к окну. Внизу открылось окно – и с улицы пахло холодом и сыростью. Я подёргала дверную ручку в надежде, что бабушка, как это часто бывало, забыла запереть дверь, но на этот раз дверь была закрыта, и я стала молча ждать воспитательницу. Может быть, она позвонит маме, и мама приедет и заберёт меня? Но телефона мамы я не знала, как не знала его и Лариса Михайловна. Где-то внизу хлопнула дверь подъезда, и я сразу узнала шаркающие бабушкины шаги. И замерла. Сейчас она будет ругаться, что я в чужих сапогах. А если она вдруг узнает, что, несмотря на все её запреты, я ела торт и бегала, то трёпки не миновать. Бабушка, тяжело дыша, продолжала взбираться по лестнице.

– Ух, и кто тут накурил-то так? Опять наркоту свою маскируют, гады!

Наконец бабушка выплыла из темноты в свет уличного фонаря, пробивающийся через заляпанное окно. Из-под меховой шапки выглядывали оранжевые тщательно накрученные волосы, зелёные глаза блестели и казались какими-то кошачьими.

– Марина Владимировна, я Ниночку вашу домой привела.

– Ой, спасибо вам, милая, я запамятовала совсем! Дел столько, с ног сбиваюсь, а что не позвонили?

– Звонили, но вы, наверное, не слышали нас.

– Лариса Михайловна, зайдите к нам, чаю попейте с конфетами!

Бабушка поравнялась с учительницей и теперь стало заметно, что, несмотря на высокую шапку и подчёркнуто прямую осанку, она еле достаёт Ларисе Михайловне до плеча.

– Да не стоит, всё, побежала я. Пока, Ниночка!

– До свидания!

Бабушка, не обращая на меня внимания, прошествовала к нашей двери, достала из кармана огромную связку ключей и начала выискивать нужный ключ. Свет на нашей лестничной клетке давно не работал. Бабушка сказала, что не будет вкручивать новую лампочку по принципиальным соображениям. Пусть Васька-алкаш вкручивает. Васька этого не сделал, а потом имел наглость умереть. И уже целых два месяца мы жили в потёмках.

Бабушка долго копалась, ругалась, но всё-таки подобрала нужный ключ. Дверь отворилась, и бабушка жестом пригласила меня пройти.

В квартире было так же холодно, как и на улице. Все окна и балкон были открыты.

– Не раздевайся пока. Постой так. Сейчас я все окна закрою, потом разденешься.

И, не включая свет и не разуваясь, она прошла в комнату, затворяя по дороге все окна.

– Ну, вроде посвежее стало.

– Все, заходи, что стоишь? Особое приглашение нужно?

– Темно же, ба, включи свет.

Бабушка нехотя включила свет, бубня себе под нос «вот неженка какая, электричества на неё не напасёшься, а бабка из своей пенсии оплачивает всё, мать твоя ни копейки не дала на твоё воспитание».

И тут бабушка заметила грязные следы на полу.

– Что это? Боже! Залезли, сволочи!! – она опустилась на колени, рассматривая мокрые следы подошв.

– Гады! – взвилась бабушка. Она в ярости вскочила на ноги. И побежала в коридор, оставляя за собой вереницу больших влажных следов.

– Бабуль, это твои следы!

Бабушка остановилась, посмотрела на меня. Я сжалась, ожидая потока самых крепких бабушкиных ругательств, но их не последовало. Она опять провалилась куда-то и несколько минут просто стояла молча. Потом как будто бы проснулась и молча пошла за тряпкой.

Ужин, как и всё остальное в доме, готовился на бабушкиной крови и был ей выстрадан специально для меня.

– Ешь уже котлеты свои! На пару делала, полдня фарш для них крутила. Не ковыряйся, плохого тебе не положу. Сама голодная весь день из-за тебя.

Потом мы пошли с бабушкой в комнату смотреть телевизор. Фильмы всегда показывали скучные и нудные, и на все мои просьбы переключить на мультфильмы бабушка не реагировала.

– Что ты все мультики свои смотришь? Не маленькая уже. Про жизнь смотреть нужно, про жизнь. Иначе вырастешь, как мать твоя, не от мира сего. Всё в своих книгах, а как по житейской части, так грязнуля рукожопая. Ничего по хозяйству не умеет, всё я за неё делала. А не догляжу чего, так и идёшь с ней по улице – я красавица и дочь, как не моя. Толстая и непричёсанная. Только вот училась хорошо, а ты и этого не можешь! Но книжки, книжки! – это её проклятие, ничего она за своими романами не видела. Я её книжки и отдавала, и дарила, но всё равно новые откуда-то брались. Дед твой, садист, притаскивал макулатуру всякую постоянно. И ладно б красивые книги, которые не стыдно людям показать, классиков разных, а он всё дерьмо это сказочное тащит, про планеты, про будущее... Какое, скажите, у неё будущее, если она подшить себе воротничок не могла никогда? Я сама своими руками себе платье на выпускной шила, а ей вот в Москву за платьем ездила. Как сейчас помню, все мои накопления на него ушли, а она морду надула, как увидела: «Что это, мама, это не платье! Я же не старая такое носить!» Сволочь неблагодарная! А что на её фигуру такого оденешь? Разве что чехол от танка! Радовалась бы и ему, если бы дочерью нормальной была, а не жестокой и неблагодарной, как и отец её! Про жизнь смотри и учись, как нормальные люди живут.

А дальше бабушка начинала рассказывать мне содержание предыдущих серий этого фильма, про людей со странными именами, и кто кого из них любит, кто разводится, про какого-то потерянного ребенка, про чью-то измену. Под фильм я обычно засыпала.

В девять часов всегда звонила мама. Связь была плохой, и мамин голос слышался как будто издалека. Часто бабушка не давала мне поговорить с мамой, оттесняла меня от телефона и начинала разговоры о каких-то непонятных и сложных вещах, про инфляцию и цены на рынке. Потом она начинала кричать, что мама плохо использует деньги, расходует миллионы на всякие глупости, на игрушки никому не нужные, на развлечения всякие. А потом подзывала меня к себе и говорила, чтоб я пожелала маме спокойной ночи, держа трубку у себя в руках.

И в этот раз всё было так же. Положив трубку, бабушка ещё долго не могла успокоиться. «Секции какие-то придумали с муженьком своим. Денег ни на что не хватает, а она про секции, слово-то какое нерусское... Ты, Ниночка, радуйся, что со мной живёшь! Как тебя мамаша твоя и папаша безответственные не угробили только? То, что ты живая ко мне попала, это недоразумение просто».

Бабушка уже начала стелить мне постель, как тут в дверь позвонили. Один раз, второй.

– Кого нелёгкая в такой час принесла? Кто там?

– Милицию вызывали?

Бабушка бросилась отворять дверь.

– Заходите, заходите!

В комнату прошли двое мужчин в огромных серых куртках. Я сидела на диване и боялась пошевелиться.

– Рассказывайте, что у вас произошло?

– Пойдёмте на кухню, не при ребёнке же!

Милиционеры поднялись и проследовали за бабушкой в нашу тесную кухоньку. Я так и осталась сидеть, прислушиваясь к разговору и с трудом различая слова «травят, наркоманы, житья не дают, ребёнка губят, труба горячая».

Через несколько минут один из милиционеров вышел из кухни, и бабушка вслед за ним.

– Да, вызовите, и возьмут пробу воздуха?

– Вызовем сейчас, бабуль, и соседей ваших опросим, вы только не переживайте.

– Ой, спасибо вам, милые! Чай будете с конфетками?

– Нет, бабуль, спасибо, – он вышел в коридор, его напарник последовал за ним.

На кухне закипел чайник.

– Ниночка, иди чай попей перед сном с творогом. И спать ложись.

– А куда дяди пошли?

– Они пошли службу специальную вызывать, чтобы замеры воздуха сделать специальные. Гадов этих арестуют, и муки тогда наши с тобой кончатся.

Бабушка полезла в холодильник.

– Хочешь конфетку, Нинуль?

Нинулей меня бабушка называла только в очень хорошем расположении духа, а такое бывало редко. И уж очень редко она сама предлагала мне конфеты. Тогда она садилась напротив меня и рассказывала, о том, как жила раньше, до всего этого. Как мой дед после четырнадцати лет брака обворовал её и убежал к любовнице, и как та его тоже выгнала, и где теперь дед, она не знает и знать не хочет. Как в исследовательском институте работала и исследовала какой-то атом, как ей дали премию как изобретателю, и сам кто-то там вручал ей орден. И как потом, после моего рождения, всё пошло наперекосяк, и как институт развалился, и её разработки перепродали. И директор их сбежал за границу. И как её хотели вычеркнуть из какого-то документа, чтобы не платить премию. И многое другое, и закончилось это всё, когда я родилась. И люди теперь совсем другие, – бабушка вздыхала.

Когда у бабушки было такое настроение, мне нравилось её слушать. Иногда она брала ручку и листочек и объясняла мне строение какого-то атома,

и рассказывала, что из этих атомов состоят все люди и животные, и всё-всё-всё на свете. Я недоверчиво смотрела на бабушку, потом на свои руки – и не видела никаких атомов.

Когда она со мной так говорила, я её почти любила.

Я доела уже третью конфету, когда за окном запрыгали сине-красные фонарики. Они весело скакали по оконным стеклам и отражались от пола.

– О, приехали, наверное, – обрадовалась бабушка.

В дверь опять позвонили. На пороге стояли те же милиционеры и наша соседка баба Кланя, которая иногда присматривала за мной, когда не было групп, а бабушке нужно было отлучиться по делам.

– Всё, Марина Владимировна, приехали. Накиньте только пальто, сначала в машине нужно расписаться кое-где и пульс померить, вдруг вы отравились сильно.

Бабушка бросилась одевать меня.

– Девочку оставьте, пока только вы нужны.

– Не беспокойтесь, Марина Владимировна, я пригляжу за Ниной и спать её уложу, – баба Кланя степенно проследовала в квартиру.

Бабушка накинула на плечи пальто и, как была в тапочках, так и побежала вниз по лестнице.

Я стояла возле двери и проводила бабушку взглядом. Баба Кланя мне не нравилась, от неё неприятно пахло табаком.

– Матери её позвоните, пусть приезжает и заберет её, – милиционер кивнул в мою сторону.

– Ниночка, я тебе постелю, ты допивай чай и ложись спать, – баба Кланя начала раскладывать оставленное бабушкой бельё.

Я подошла к окну на кухне. Около подъезда стояла большая белая машина с красным крестом и весело мигала огоньками, рядом курили двое людей в тёмных комбинезонах. Бабушка в сопровождении милиционеров вышла из подъезда. Замерла. Один из мужчин подтолкнул её в сторону машины. Бабушка закричала и бросилась обратно к подъезду. С другой стороны двое мужчин в синих куртках подхватили бабушку под руки и неуклюже затолкали в жёлтую пасть. Машина тронулась и, быстро набирая скорость, выехала из двора.

А утром приехала мама.